

Стратонов В. Служба в Туркестане

Всеволод Викторович Стратонов (17 апреля 1869, Одесса — 6 июля 1938, Прага) — русский астрофизик, профессор (1918), декан физико-математического факультета МГУ, один из наиболее талантливых русских астрофизиков рубежа XIX и XX столетий, основатель и директор Российского астрофизического института (РАФИ) (в 1923 году переименованный в ГАФИ). В 1922 году был выслан из СССР вместе с большой группой ученых, последние годы жизни жил в Праге.

Предлагаемая часть его обширных воспоминаний посвящена периоду его службы в Туркестане, в Ташкентской астрофизической обсерватории.

Написанные ярким, сочным языком воспоминания дают широкую картину жизни Ташкента конца XIX начала XX века. Выпукло и зримо встают со страниц книги знаменитые ташкентцы: Залесский, Маллицкий, Остроумов, Корнилов, Снесарев, отец и сын Керенские, Гейнцельман и другие.



* * *

*

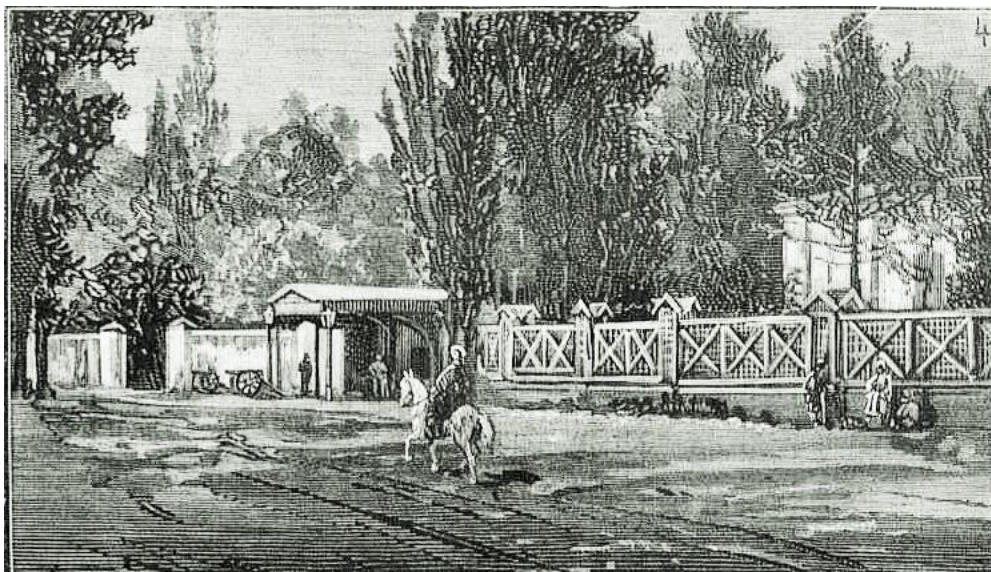
Ташкент

Ташкент конца века... Он тогда в административном отношении, да и фактически, состоял из двух хотя и смежных, но сильно между собою отличающихся русского, или европейского, и затем туземного, или сартовского, городов. Слово «сарт», однако, некоторыми считалось унижительным. После революции его заменили словом «узбек».

Очень хороша была европейская часть Ташкента. Широкие улицы обсажены высочайшими тополями, а кое-где — местными шаровидными карагачами. По обеим сторонам улиц — иногда даже по обеим сторонам тротуара — протекают арыки, а вдоль них тянутся к облакам эти стройные тополя. Не обсажены деревьями только самые узкие улицы, в торговой части города.

Земельные участки при домах — очень велики. Иные достигали десятины и даже нескольких. Они почти сплошь в садах, и среди моря зелени — небольшие дома-особняки.

Зелень, зелень — повсюду!



Поддерживался этот райский вид, однако, не без труда. Летнее солнце основательно высушивает почву, и насаждения надо постоянно поливать. Без поливки — почва каменеет. Поливка — творит чудеса. Шутники говорили:

— Воткните близ арыка

— Воткните близ арыка поломанную оглоблю; через полгода вырастет из нее экипаж с лошадьми и кучером!

Поливка осуществлялась сложнейшей системой оросительных арыков; в них вода проникает из более крупных арыков, а последние питаются из магистралей, выходящих от рек. Справедливым распределением воды в порядке очереди в разные стороны, на несколько часов в день каждую, ведают в Туркестане особые должностные лица: мирабы и арык-аксакалы. В переводе «аксакал» — «белая борода». Прежде это была почетная функция, доверявшаяся старикам; ведь вода здесь — все!

Лессовая почва дает массу пыли. И в теплые месяцы, от апреля до конца сентября, когда дождей почти вовсе не бывает, образуется толстый ее слой. При уличном движении воздух заполняется облаками пыли. Она оседает и на деревьях, которые становятся серыми, а не зелеными.

В ту пору — и это продолжалось до водворения большевизма — существовал в городе особый институт караульчиков, которые по вечерам нарушали тишину, мешая спать, оглушительным стуком

колотушек, чтобы демонстрацией своей бдительности отгонять от домов небывалых злоумышленников. К ночи караульщики-сарты мирно засыпали, и особого вреда от этого не возникало. В молодые годы, бывало, проходя поздним вечером мимо сладко спящего стража общественной безопасности, я вдруг освещу его лицо ярким ацетиленовым фонарем. Сарт вскочит, точно ужаленный, протирает глаза... Потом, с досады, так застучит своей колотушкой, что начнут отзываться и окрестные собаки.

В дневное время те же караульщики становились и поливальщиками. Они обязаны были два раза в день поливать водою, которую они черпали из арыков, окарауливаемые ими участки улицы. Труд караульщиков-поливальщиков обходился домовладельцам очень дешево — по три или четыре рубля в месяц со владения.

Красив был центральный сквер в городе, особенно служившая продолжением главной Соборной улицы аллея шарообразных карагачей. Деревья эти повзростали в могучие зеленые шары.

этом сквере, между прочим, позже стоял весьма симпатичный памятник покорения Туркестана — не генералам и вождям, а самому солдату^[270]. Большевики сочли нужным этот памятник разрушить.

Зимы в Туркестане коротки, но суровы: морозы доходят до тридцати градусов Цельсия. Летом же в Ташкенте бывало чрезвычайно знойно. В мое время доходило в тени до 43½ градусов Цельсия, а на солнце до 70–80 градусов. С часу дня деловая жизнь в городе замирала. Окна домов заставлялись, для защиты от зноя, щитами с натянутой на них кошмой (войлоком).

Но с шести часов вечера становилось уже терпимо, а к десяти даже прохладно. Летом к полуночи приходилось иногда и пальто надевать.

Возможность отдохнуть, вечером и ночью, от дневного зноя очень облегчала жизнь в Туркестане. Гораздо хуже в этом отношении на юге России, в частности в Закавказье.

Ташкент засыпал рано. В девять вечера все затихало. Жизнь проявлялась только в двух клубах, да еще изредка в одиноко стоявшем среди площади театрик.

Поистине, волшебная картина разворачивалась в лунные ночи, и трудно было досыта ею налюбоваться.

Яркая луна почти отвесными лучами заливает тихие и пустынные улицы. И особенно выделяются на фоне всегда звездного неба стрельчатые тополя и шары карагачей. Пыль давно осела. Всей грудью вдыхаешь чистый и свежий воздух, оздоровленный морем растительности.

А издалека, из сартовских садов, еще доносятся звуки дойра (бубна) танцующих мальчиков бачей. Там засиделись сарты-кутилы... И вдруг ночную тишину разрезают восторженные вопли и взвизгивания поклонников этих бачей...

Точно сказка из «Тысячи и одной ночи».

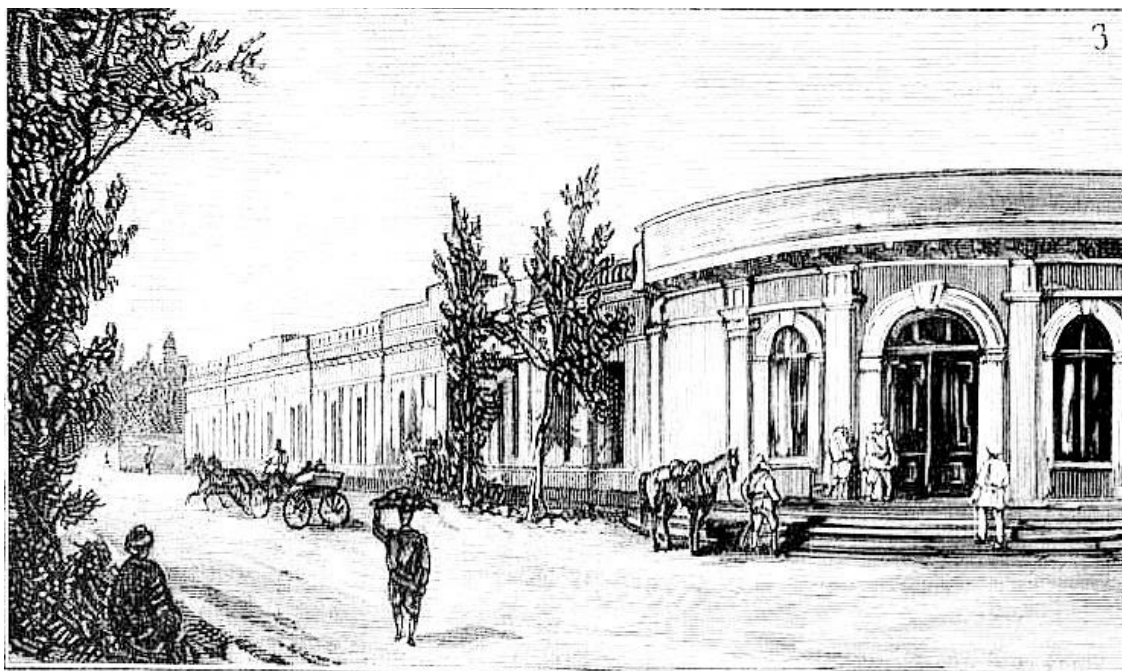
Уличная жизнь

Движение по улицам Ташкента было тогда малое, кроме только самых бойких, в торговой части города. Да и их оживление было относительное: за целый час проедут десятка два экипажей и проскрипят несколько раз туземные высокие арбы.

Часто попадались на улицах всадники: и сарты, и русские. Лошади были тогда совсем дешевы. За пятьдесят рублей можно было иметь недурного иноходца или, по-здешнему, тропотуна. Редко кто не имел поэтому верховой лошади. Бывало, что и гимназисты приезжали на уроки в гимназию верхом. А дамы в амазонках часто гарцевали на улицах.

О трамвае еще и мысли не было.

Многие из русских имели и свои выезды. Рессорных экипажей — колясок или хотя бы дрожек — попадалось не так много. Но весьма употребительными были плетеные «корзинки» на длинных дрожинах или полурессорные. Эти тележки-«корзинки» не были ни удобны, ни красивы. Зато они стоили недорого и хорошо служили в грязное время. Полурессорную тележку можно было иметь за 150–180 рублей. Лошади тоже обходились недорого: неплохую упряжную лошадь покупали за 25–40 рублей. Кучеру, сарту или киргизу, платили 7–10 рублей в месяц. Все это было по средствам и среднему чиновнику, и скромному офицеру.



Извозчиками были пароконные фазтоны. Они стояли биржами в определенных местах. В Ташкенте было принято как-то особенно выкрикивать:

— Извооо-щик!!

Точно слово переламывалось пополам, и громче всего раздавалось — «щик»!

Время от времени двигались по улицам и караваны верблюдов. Так как железная дорога до Ташкента еще не доходила, то все грузы доставлялись сюда из Самарканда на этих «кораблях пустыни».

В роли полицейских были на улицах сарты или киргизы, облаченные в форменные халаты, в черных барашковых шапках, а иногда просто в тюбетейках. На поясе с крупными металлическими бляхами болталась декоративная шашка. Такая полиция мало на что была пригодна, кроме неуклюжего козыряния проходившим в форме русским офицерам и чиновникам, что, по-видимому, и составляло главную их работу.

Эти городовые добродушно выстаивали свое время на постах, а, когда чувствовали голод, разводили себе, бывало, под ближайшим деревом маленький костер, и, зачерпнув котелком воду из арыка, что-то себе мирно варили.

Потом эту идиллию уничтожили, заменив туземных стражей порядка полицейскими из отслуживших русских солдат.

Базар

Азия — страна базаров. Как раз против нашего временного пристанища — «номеров Александра» — расположен Воскресенский базар; он, впрочем, более был известен под названием Пьяного базара.

Такою мало лестной репутацией базар был обязан русским солдатам. В ту пору сарты если и пили, то только пиво, да и то не до пьяна. Варкою пива для малотребовательного туземного населения занимались особые заводы, и пиво получалось довольно скверное.

В первые годы жизни в Ташкенте нам не раз приходилось наблюдать, с каким презрением, иногда отплевываясь, оглядывали сарты валявшихся под заборами или на тротуарах тела упившихся русских переселенцев. А потом... приходилось видеть пьяными и самих сартов. С криками и песнями катались они на извозчичьих фаэтонах по улицам.

В ту же пору и на базаре — и вообще во всем укладе туземной жизни — поражала — как уже упоминалось, честность населения. Правда, эта честность была внедрена многовековой школой, причем педагогические меры, для прочного ее укоренения, доходили до бесцеремонного отрубания судом рук, ненадлежаще примененных в отношении чужой собственности. Тем не менее, цель школы достигалась.

Бывало тогда на базаре, что, например, торговец фруктами, уходя ночевать домой, обвивал в один раз свой товар — горку арбузов и дынь — тоненькой, так называемой «сахарной» веревочкой, и он спал спокойно. Символическая веревка делала его товар для чужих рук неприкосновенным. Торговцы, имевшие мелочные лавочки, уходя, прикрывали вход в свою лавчонку чией — прозрачной камышовой плетенкой. И это все — никаких затворов или замков.

Поехали как-то мы, в первый год жизни в Ташкенте, на ночной пикник, и только там вспомнили, что оставили в нашей квартире — одноэтажном доме в глухом переулке — все окна на улицу открытыми настежь. Но мы напрасно поволновались. Вернувшись под утро, застали все в полной сохранности.

Потом постепенно, под культивирующим влиянием русских солдат, а особенно начавших приезжать на гастроли кавказцев, из числа специалистов против чужого добра, эта идиллия нравов стала исчезать, и притом быстрее, чем можно было думать. К концу десятилетнего нашего пребывания в Ташкенте от прежней честности мало осталось и следов.

На базаре, в разносной торговле и в лавочках, можно было купить самые разнообразные товары, иногда очень дешево. Там, вместе с тем, проголодавшемуся можно было и подкрепиться — в сартовских чайханах и шашлычных.



Особенно обилён бывал базар, когда созревали фрукты. Тогда возвышались настоящие горы арбузов, гордости Средней Азии — дынь и винограду.

Цены того времени: белый хлеб — 4 или 5 коп. фунт; сотня яиц — 80 коп. — 1 рубль; рябчики по 15 коп., фазаны по 40–50 коп. штука; клубника-виктория — 3 коп. фунт; виноград — 3–4 коп. фунт; мясо — 10 коп.; рис — 5 коп.; арбузы и дыни — 10–15 коп. штука; русское масло — 15–20 коп. фунт; паюсная икра — 1 р. фунт и т. д. Извозчики брали за конец по городу по 20 коп.

На базаре существовал особый институт тащишек, от слова «тащить». Этой профессией занимались мальчишки, но иногда и бородатые сарты. Они неустанно приставали к закупающим продукты кухаркам:

— Барына! Панэсу! Барына, тащишка панэсу!

Кухарка возвращалась «барыней», сопровождаемая тащишкой с корзиной, и гонорар тащишки был баснословно дешев. Тащишки применялись на базаре и для мелких поручений: навести где-либо нужную справку, позвать извозчика и т. п.

Туземный город

Совершенно иной — и характерный для азиатского города — вид имел туземный или старый город.

Внешне — сплошное царство глины. Узенькие и часто извилистые улочки и переулки — сплошные коридоры из глины. Иные улочки очень узки — двум арбам и не разъехаться.

Заблудиться в чрезвычайно сложном лабиринте мелких улочек — постороннему ничего не стоит. Но не прямы и главные артерии города.

В глиняные дувалы, которыми окаймлены все улицы, часто входят, возвышаясь над дувалами, задние стены жилых сакель. Редко когда попадетс в них маленькое окошко на улицу. Чаше — обитатели вполне скрываются от постороннего мира.

А внутри, за крепкими воротами, — азиатский уют и своеобразное благоустройство. Его замечаешь, когда на минуту откроются ворота, чтобы пропустить хозяйскую арбу.

Глинобитная сакля с террасой, при сакле — служебные постройки, а за ней — двор с садиком. Во дворе — почти обязательна обсаженная деревьями лужа воды, в виде купальни или прудика, — хауз. В таком хаузе каждый правоверный моет себе пять раз в день руки, а то и голову, ноги, а также иные, не называемые в литературе, части тела, которые правоверные омывают перед молитвой. В эту же воду сморкаются, плюют, и эту же воду часто и пьют. Мусульмане верят, что вода все растворяет: она не может загрязниться.

Неудивительно, что питьевая вода из таких хаузов служит источником разных заболеваний. Одно из них бывает, когда в организм попадает зародыш ришты^[275]. Тогда под кожей развивается длинный, в несколько десятков сантиметров, нитевидный червь, который вызывает очень болезненные ощущения. Впрочем, туземным «лекарям» иногда удается весьма ловко избавить больного от ришты. Они пользуются тем, что из чирея выступает конец ришты. Захватив его щепочкой, «доктор» весьма медленно и постепенно извлекает червя, накручивая его на щепочку. При неудаче этой операции — разрыве навертываемого червя — происходит заражение раны, часто смертоносное.

Море плоских крыш над саклями разнообразится невысокими минаретами мечетей, также глинобитными, серыми. Только изредка попадаются в Ташкенте мечети покрупнее. Издали или с высоты это царство глины разнообразится зеленью садигов.

Грязь на улицах — страшная. Шоссирована только главная улица. Остальные, при глинистой почве, обращаются осенью и весной в густой кисель, а в теплое время покрываются подушкой пыли.

Удивительно, как это сарты умудряются проходить по своим улочкам при такой грязи. Ходят они в высоких мягких сапогах, на которые надевают кожаные калоши, на каблуках, без задков. Калоши вдеваются на ногу, как туфли. Сарты оставляют эти калоши, входя в дом, в прихожей или на крыльце.

Обычный экипаж в старом Ташкенте — арба с высокими колесами. Но сарты всех возрастов, до самых старых бабаев, ездят верхом. Однако сартянок на лошади никогда не попадалось, в противоположность киргизкам, которые постоянно гарцуют по-мужски верхом, с открытыми лицами.

Центральное место старого Ташкента — его базар. Он охватывает, кроме площади, несколько ближайших переулков. Базар — открытый, но часть его, на некоторой высоте над домами, прикрыта навесом, защищающим толпу при непогоде.

Жизнь на базаре бьет ключом. Здесь — все необходимое для туземца. Много покупалось здесь и русскими — частью съестные продукты, частью азиатские вещи. Все это бывало здесь дешевле, чем в русской части города.

На порогах лавчонок сидят на корточках торговцы в халатах, в тюбетейках или чалмах, и сидят спокойно, терпеливо, бесстрастно — иногда часами, пока к ним не зайдет покупатель.

Или соберутся вместе несколько купцов. Сидят, покуривая кальян, и молчат в созерцательном настроении, только изредка обмениваясь незначительными словами.

Любимое, однако, место для сидения сартов — это их чайхана. В таких чайных обязательно устраивается навес над открытой террасой, а внутри — диванчики.

На террасах восседают на корточках сарты. Чайханчи (владелец чайханы) или его малайки подают гостям чай в чашках без блюдец: сарты держат чашки снизу концами пальцев. Потребляют они чай в громадном количестве. Этим делом занимаются часами, сидя со внешним невозмутимым спокойствием, как будто ничем не интересуясь; на самом деле зорко следят за происходящим на улице.

Здесь же, в чайханах, или в особых шашлычных, можно получать шашлык. Кусочки баранины мелко режутся, нанизываются по дюжине на тонкие металлические заостренные палочки-вертела и жарятся на углях. На этих же вертелах шашлык и подается гостю.

Наиболее, однако, излюблен сартами их палау — рисовый плов, приготовляемый на бараньем сале в котлах, но так, что рис остается рассыпчатым. К рису добавляются куски баранины, морковь, изюм, лук и сушеные абрикосы — урюк. Прибавляется еще перец и получается действительно вкусное блюдо.

Сарты любят и свои пельмени, приготовляемые из баранины с большим количеством бараньего сала.

Летом же их любимым блюдом являются дыни, притом обыкновенно большие, длинные, так называемые арбакешные дыни. Они велики, дешевы, но мало вкусны — не сочны; напоминают огурец, только что сладки.

Часто, бывало, видишь летом обед простолюдина-сарта, чернорабочего — мардакера или арбакеша: одна или две сартовские лепешки и большой кусок дыни; этот неприхотливый обед запивается грязной водой из мимо текущего арыка.

В зимнее время — а холода здесь доходят до 30 градусов мороза (по Ц[ельсию]) — бедные сарты сильно мерзнут. Печей в саклях у них нет, а устраивается подобие жаровни — мангал. Железное ведро на маленьких ножках заполняется горячими углями, закутывается одеялом. Под это одеяло сарты протягивают руки и ноги; спина же остается на холоду.

В теплое время года сарты очень любят посещать свои чайханы, устраиваемые в садах.

В сапфирной мгле мне Чай-ханэ видна.
Фонарь горит, зовя призывом алым,
За ним другой... Как грузным опахалом,
Пахнула страстью древнею страна.

Задел халат меня в проходе тесном...
Куда иду я в городе безвестном?
Я чую дых и запах душных губ.

Меня влекут посулами дурманов
Глухие стоны томных барабанов
И хрипы напрягающихся труб^[276].

Во внутреннем помещении чайханы происходят скрываемые от русского полицейского глаза развлечения сартов с бачами. Это — мальчики в нежном еще возрасте. Танцами, кокетством и ласками они доводят страсть бородатых сартов до полного иступления.

Уже город заснул, жизнь на улицах замерла, как будто все спит... Но жизнь кипит в закрытых от постороннего глаза внутренних дворах садовых чайхан. Слышится заунывная восточная музыка и удары бубна. Под них пляшут в чайханах разряженные, точно женщины, мальчики. При особо сладострастных телодвижениях танцоров далеко по окрестностям разносится дружное, восторженное взвизгивание. Кончая пляску, бача обращает свое внимание на ком-либо одном из зрителей. И избранник, ошарашенный лаской мальчика, удаляется с ним в укромное помещение насладиться любовью. А его сопровождают злобные и завистливые взгляды менее счастливых соперников.

Развлечения с бачами были запрещены русской властью. Но они так сильно въелись в нравы народа, что вывести их тогда еще не было возможно. К тому же присутствие бачей чайханчи маскировали тем, будто это — просто мальчишки для услуг в их чайханах.

То, что связано с жизнью женской части семьи, от постороннего мужского, а тем более от гяурского глаза, тщательно скрывалось.

Женщины на улицах видны бывали часто, но вид их был безобразен. Длинные серые халаты, вроде балахонов, а на лице висит, спускаясь до колен, точно хобот слона, темная грубая сетка — фаранджа. Русские дамы, посещавшие знакомых сартянок, рассказывали, что под халатом — по крайней мере летом — женщины носят только лишь длинную рубаху. Зимой же сартянки надевают на себя по несколько халатов. Между прочим, в связи с сильно развитым шелководством, сартянки часто носят под мышкою коконы, чтобы отогреть их своим теплом.

Женщины навещают друг друга, уединяясь в гаремы. При таких условиях святость супружеских прав тщательно оберегается; измены кажутся невозможными.

На деле бывает иначе, увы! Нередко поклонники красавиц сами наряжаются в женский туалет и великолепно проникают к своим дамам в гаремы, под самым носом у ревнивого мужа. Бедняга ничего поделать не может. Прикоснуться к чужой женщине, поднять ее вуаль — тяжкое преступление против обычая. На это не отважится и отчаянный ревнивец.

Не раз бывало, что встречаешь одиноких женщин в малолюдных переулках. Они не закрывают лица, а весело улыбаются незнакомому гяуру. Но, если только вдали заскрипят колеса туземной арбы или послышится топот лошади, на лицо мгновенно натягивается темная сетка.

Окрестности Ташкента были населены главным образом сартами и киргизами. Первые кроме самого Ташкента жили еще в окрестных кишлаках; киргизы же, за редкими исключениями, вели кочевую жизнь.

Сарты — народ смирный, трудолюбивый и очень склонный к торговле. Подобно китайцам, каждый сарт в душе мечтает стать купцом.

Поденные рабочие-сарты, мардакеры, на земляные работы являлись со своими кетменями — большими круглыми лопатами, приделываемыми к рукояти под прямым углом. К маневрированию этим инструментом надо привыкнуть, тогда он себя оправдывает более, чем обыкновенная наша лопата.

Но как рабочая сила сарты неважны. Силы у них мало, и русские рабочие в данном отношении их превосходили. Быть может, это зависело от скудного питания чернорабочих сартов.

Очень любили сарты устраивать бои петухов и перепелов. Последних сарты часто выращивали у себя на груди, под халатом, не расставаясь с ним целый день. Перепела при таких условиях привыкают к своим хозяевам. В чайханах посетители выпускают перепелов на взаимный бой и увлекаются этим спортом. Развлекаются иногда и борьбой своих силачей — палванов.

У туземного населения чрезвычайно развито было почтение к старшим, особенно же к духовенству, к муллам и к святым — ишанам. На этом большевики, в первый период захвата власти, сильно здесь споткнулись, когда попробовали применить те же приемы антирелигиозной борьбы, которые им удались среди других народов России.

Киргизов было много меньше, чем сартов. Народ этот — с хитрецей, себе на уме. Женщины у них всегда ходили с открытыми лицами. Своим женщинам киргизы нередко давали самые поэтические имена.

В общем население было удивительно законопослушное, и управлять им было легко: нельзя и сравнивать с Кавказом. Басмачество, получившее такое развитие во время большевизма, этим последним и было вызвано к жизни. Оно было по преимуществу борьбой с советской властью. В ту же пору разбои были единичными и весьма редкими исключениями.

Администрация иногда злоупотребляла легкостью управления этим населением. Например, возник обычай перед проездом важных лиц летом по пыльной дороге сгонять на два-три дня население окрестных кишлаков для поливки дороги. Это мотивировалось желанием поднять престиж власти. Доходило до того, что население вынуждено бывало поливать дорогу и перед проездом семейства генерал-губернатора или властей поскромнее и даже, что может быть наиболее возмутительно, перед проездом путешественников иностранцев. Не стеснялись отрывать людей в самое горячее рабочее время. Воспитанные поколениями в повиновении власти, сарты и киргизы внешне не проявляли недовольства. Этот порядок был выведен в самом конце века по приказанию генерал-губернатора Н. А. Иванова.

Мы застали население Туркестана на переломе от прежней честности и покорности власти, и своим старейшинам к новым нравам, которые сюда принесли русские солдаты и кавказцы.

Поучительна история Джурабека.

Джурабек

Гроза над Самаркандом разразилась внезапно.

Русские войска, занявши старинный город, оставили в нем лишь небольшой гарнизон. Опасаться было некого. Население — мирное, рабочее. Малобоееспособное войско сартов уже разгромлено. Отряды двинулись на запад, к Катта-Кургану и Бухаре.

Внезапно Самарканд оказался обложенным большими неприятельскими силами. Это секретно подобрался налётом из Бухары, с двадцатитысячным отрядом, шахризьябский бек, Джурабек.

Началась героическая борьба. Положение нескольких сот человек, составлявших самаркандский гарнизон, было критическое. Три дня длились бои с резней, и ряды защитников совсем поредели. Предстояла сдача изнуренного неравным боем гарнизона. А потеря только что завоеванного Самарканда произвела бы на страшно впечатлительном Востоке весьма невыгодный для русского престижа эффект.

Но как-то удалось уведомить о грянувшей грозе русский отряд в Катта-Кургане. Спешно возвратившиеся подкрепления отогнали орды Джурабека.

Слава о лихом джурабековском налёте, тем не менее, широко разнеслась по создающим общественное мнение базарам Азии. Он мог бы пожинать лавры... Но, увы, судьбы людские изменчивы! Бек Шахрисябза Джурабек и правитель более скромной бухарской области Бабабек навлекли на себя чреватый грозными последствиями гнев эмира бухарского. Спасая жизнь свою, надо было бежать. Оба бека, в сопровождении своих близких, бежали в Фергану, под покровительство кокандского хана.

Владыка Коканда, считаясь с непобедимостью в Азии русских, проявил в отношении беглецов покровительство особого рода. Приказал бросить бежавших беков в азиатскую тюрьму, яму-клоповник. А сам послал гонца к туркестанскому генерал-губернатору К. П. Кауфману:

— Ваши враги, Джурабек и Бабабек, сидят у меня в яме. Если угодно «полуцарю», я посажу их на кол, а головы их пришлю в Ташкент!

Кауфман ответил:

— Он сам желает произвести эту операцию. Пусть хан пришлет к нему невредимыми обоих арестованных!

Кокандский хан не посмел послушаться.

Джурабек и Бабабек, ожидавшие за самаркандскую резню лютой казни, были доставлены к генерал-губернатору. Кауфман их обласкал и предоставил полную личную свободу. Более того, потребовал от бухарского эмира возвращения обоим бекам конфискованного имущества.

Эмир поартачился:

— У Джурабека еще кое-что было, а у Бабабека был лишь кобылий хвост...

Однако вынужден был обеспечить обоих беглецов.

А беглецы стали самыми горячими приверженцами России. Оба они, особенно весьма умный Джурабек, оказывали не один раз русской власти весьма важные политические услуги.

Вскоре оба они получили офицерские чины. Мы застали Джурабека полковником, а на коронацию Николая II он стал и генералом.

Значение этой меры Кауфмана, при впечатлительности азиатов, было огромное. И оно выгоднее отразилось на отношении к нам фанатиков — покоренных, чем, быть может, выигранное сражение.

Замена бухарского халата генеральским мундиром не сделала Джурабека смешным. Его мощная фигура, с лицом, на котором выделялся слегка приплюснутый нос, была довольно картинной.

В Ташкенте у Джурабека были два имения. Одно — великолепный дом в восемь комнат, на границе между русским и туземным городами. При этом — дивный сад, десятины в полторы, и большой цветник. По азиатскому обычаю при доме было много всяких служб, конюшен и пр.

Этот дом я нанимал у Джурабека, и мы прожили в нем два года.

Общение с Джурабеком доставляло известное удовольствие. По-своему это был очень образованный человек. Он часто возился с арабскими книгами и делился впечатлениями о

прочитанном. По русской письменности Джурабек был слаб, но в русском обществе, благодаря природному уму и такту, ложных шагов не делал.



Уважением среди сартов он пользовался громадным. Оно переносилось и на его имение. Например, вход в наш дом вовсе не запирался, даже простого крючка не было. Войти мог всякий, особенно ночью... Но не сознававшие за собою на то права — не входили. Ведь это же дом Джурабека!

Не один раз оставляли мы на ночь на громадной открытой террасе, выходящей в сад, ковры, посуду, иногда даже не убирали и серебра. Ни разу ничто не пропало, несмотря на открытый доступ в сад.

Впрочем — одно исключение. В саду было много пармских фиалок. И мальчишки-сартята, ранним утром, когда мы спали, перелезали через дувал, воровали, сколько могли, фиалок, а затем продавали их в городе. Иной раз проказники на улицах предлагали и нам:

— Фиалки из сада Джурабека!

Сам Джурабек переселился в другое свое имение — на дачу, в восьми верстах от Ташкента, на речке Карасу. Здесь у него также был дом, хотя и более скромный, со множеством служб и с еще большим садом, чем в городе. При нем всегда жило с десяток родственников-челядинцев.

Казалось, уважение к Джурабеку — беспредельно. Но уже после нашего выезда из Ташкента, около эпохи первой революции, осенней ночью пробралась в его дом на Карасу шайка грабителей. Зарезали старика, порезали кое-кого из челяди и ограбили что могли. Это были, по-видимому, кавказцы, но не без участия и сартов, посягнувших на столь уважаемого в народе бека.

В Ташкентской обсерватории

Первые шаги

Назначение в военное ведомство — Ташкентская обсерватория состояла при военно-топографическом отделе штаба Туркестанского военного округа — меня немало смущало. От ранней молодости я был настроен против военщины. Судьба же заставила меня прослужить чиновником военного ведомства целых семнадцать лет!

На другой день по приезде в Ташкент облекся я в отвратительный парадный мундир военного чиновника, с высоким стоячим воротником, с петлицами, шпагой и пр. и поехал представляться ближайшему начальству. Им, по должности заведующего Ташкентской обсерваторией, был тогда полковник Генерального штаба, геодезист Дмитрий Данилович Гедеонов.

Толстый-претолстый, черноглазый, с громадной головой, уже с проседью. Говорил быстро, задыхаясь от ожирения.

Гедеонов тотчас же повел меня осматривать новый фотографический рефрактор (астрограф), для работ с которым я, собственно, и был назначен. Этот инструмент, прекрасно построенный — механическая часть принадлежит знаменитой фирме Репсольда в Гамбурге, а объективы отшлифованы бр[атьями] Анри в Париже, — за десять лет работы в Ташкенте я полюбил, точно живое существо. Но теперь, благодаря своей молодости, я тотчас же сделал существенный промах, который впоследствии имел для меня серьезные последствия.

Не понял я сразу, что постройка башни для астрографа и установка, не дожидаясь моего приезда, этого инструмента — составляли для Гедеонова и занимавшую его игрушку и, вместе с тем, повод к служебной для себя рекламы. Не угадал я и совершенно исключительного самолюбия Гедеонова. Он ждал, что я приду в восхищение от всей его подготовительной работы, хотя бы и в области, с которой он — геодезист — был недостаточно знаком. Я же проявил молодую добросовестную прямолинейность: похвалил то, что было действительно хорошим, но покритиковал показавшееся мне малоудачным.

На лицо Гедеонова легла тень; он стал сразу менее приветлив. А впоследствии бросил мне упрек.

— Я всю душу вложил в устройство башни астрографа, а вы и этим не остались довольны!

Слишком поздно понял я свою ошибку.

Следующим, по восходящему порядку, моим начальством был генерал Станислав Иванович Жилинский, начальник военно-топографического отдела. Мы к нему на другой день, вместе с Гедеоновым, и направились.

Еще накануне Гедеонов бросил мне несколько весьма недружелюбных замечаний по адресу Жилинского. Он наперед хотел меня настроить враждебно против последнего. Мне стало ясно, что между ними — нелады и что Гедеонов готовит во мне для себя союзника.

Из-за стола поднялась тучная генеральская фигура, с заплывшим лицом и суженными глазами, почти совсем лысый. Пискливо-визжащий возглас:

— О-очень раад! Ждем все ваас...

Гедеонов, представив меня, поспешил демонстративно уйти, а Жилинский стал приветливо беседовать.

Жилинский был «старый туркестанец»; тогда это в Ташкенте считалось большим плюсом при оценке человека. Начал он службу здесь молодым капитаном Генерального штаба, геодезистом, — да так и застрял на всю жизнь под туркестанским солнцем. Ему во многом обязана была своим возникновением и Ташкентская обсерватория, хотя с обоими первыми заведующими ею, сначала с И. И. Померанцевым, а затем с Д. Д. Гедеоновым, — Жилинский сильно не ладил.

Служа так долго на окраине, Жилинский понемногу отставал от былой своей интеллигентности. Окончил он и университет, и академию Генерального штаба — по геодезическому отделению. Но почти все свои знания порастерял. Знал, в сущности, только то, чем непосредственно руководил, — работы военно-топографического отдела.

Постепенно он избавлялся и от излишних, стеснявших его, предрассудков. Так, например, созданная им же обсерватория, с ее громадным парком, прежде всего служила для хозяйственных личных нужд Жилинского. Из-за этого он главным образом и не ладил с заведующим обсерваторией. Но, сознавая в данном случае свою формальную слабость, он понемногу сдавал позиции. Раньше для него на обсерватории существовали парники, оранжереи и пр.; теперь же оставались только остатки былого.

Были за ним и другие, плохо скрываемые грешки; чувствуя их за собой, он был снисходителен к грешкам подчиненных. Только, мол, не попадайтесь! Но какими все это теперь представляется невинными пустяками, по сравнению с явлениями большевицкого погрома России. А тогда и это возмущало.

Уже в пожилых годах Жилинский женился.

Его друг, генерал Н. И. Корольков, впоследствии сыр-дарьинский военный губернатор, обратил внимание С. И. на интересную молодую особу, жену одного из своих подчиненных. Сам пожилой холостяк, Корольков был большим поклонником женщин. Но он придерживался этического правила: не ухаживать за женами подчиненных!

Жилинский чувствовал себя свободным от такого стеснительного предрассудка. Он перевел мужа пленительной дамы под свое начальство, затем устроил его развод и женился на этой даме.

Так как С. И. Жилинский отнесся ко мне, совсем молодому еще человеку, хорошо, сам стал бывать у нас и ввел в свой дом, то нам привелось наблюдать его семейную жизнь.

В ту пору Евгения Константиновна Жилинская была уже сильно перезревшей красавицей. После жизни, в которой она — как рассказывали — мало отказывала себе в удовольствиях, она впала в ханжество. Не имея детей, она, между прочим, завела целый выводок собачек, и эти животные,

страшно избалованные, вечно валявшиеся на диванах и без церемонии вскакивавшие ко всем на колени, вызывали в гостях негодование. Однако приходилось все это принимать с приятной улыбкой.

Евгения Константиновна еще и пела. Она не слишком пленяла своим талантом гостей, но неизменно влюбленный в нее муж всегда оставался в восторге. Глядит на поющую жену осолопевшими глазами, а когда она кончит, громче всех восторгается гнущим голосом:

— Аах, Женя, как это у тебя хорошо вышло!

На общественные отношения Жилинский смотрел глазами жены. Кем она довольна, — рассыпается в любезностях и Станислав Иванович, и наоборот.

Военные топографы

Здесь, в военно-топографическом отделе, я впервые встретился с моими будущими сослуживцами. В комнатах отдела все было заставлено столами, на которых разрисовывали свои планшеты военные топографы — люди в черных форменных мундирах, с синими воротниками. Это были, главным образом, гражданские чиновники: офицеров между ними было мало — только более пожилые. Тогда военно-топографическое дело временно переживало «гражданский» характер. Позже произошла реформа в сторону милитаризации, и молодые топографы были уже исключительно офицерами. Они носили красивый мундир, с белыми аксельбантами.

Первое впечатление от общения с военными топографами было странное. Била в глаза малая их интеллигентность. Правда, встречались некоторые исключения, но довольно редкие. Выглядели они как-то нескладно, лица у большинства неприветливые. Более близкое знакомство с этими моими сослуживцами подтвердило первое впечатление: большая часть военных топографов была малокультурна, как-то сера. Быть может, это являлось последствием их тяжелой работы в глухих местах, за которой они проводили половину своей жизни. Но таковы же в общем были и их жены.

Вспоминаю обед на именинах у моего ближайшего сослуживца полковника Залесского. Приглашено человек пятьдесят гостей. Столы обильно заставлены закусками и напитками. Подкрепившись у столов, гости засаживаются за карты, и уже целый день не встают из-за столов с зеленым сукном. Время от времени денщики приносят что-нибудь вновь зажаренное: телячий окорок, поросенка и т. п. Хозяйка режет на куски и раздает еще не насытившимся. Так повторяется в течение дня несколько раз.

Дамы и мужчины — все пожилые — мило пикируются:

— От вас, женщин, всегда псятиной пахнет!

— А от вас, мужчин, вечно козлом воняет!

Все довольны этим словесным турниром.

Каждый год весной работы военно-топографического отдела посылались на «смотр», в Петербург. Там скоплялись работы со всех военно-топографических округов России. Один год работы представлялись государю, другой — дело ограничивалось смотром военного министра.

В те годы, когда предстоял смотр государя, работы возил сам Жилинский. На смотр же министру их возил кто-либо из умеющих угодить начальству топографов. Но как-то случилось, что Жилинский на высочайший смотр поехать не смог, а командировал с работами топографа Глаголева. Последний вернулся сияющий и счастливый:

— Доложил я государю всё, что было нужно, о работах. Он остановился передо мною: «Давно ли вы служите в Туркестане?» — «Двадцать семь лет, ваше императорское величество!» Он посмотрел на меня такими ласковыми глазами и говорит: «Благодарю вас».

Неудивительно, что Николай II, так умевший мимоходом очаровывать, трафаретной благодарностью нарушил данным им счастьем покой скромного провинциального чиновника. Но удивительно, как эта невинная радость Глаголева была испорчена завистью сослуживцев! «Благодарю», сказанное одному из них царем, им казалось каким-то необыкновенным отличием. Трудно было им это переварить... Начались ссоры с Глаголевым, интриги, мелкие подкопы... На Глаголева жалко было смотреть: осунулся, изнервничался, и, когда говорил на эту тему, на глазах его я замечал слезы.

Пасха

Через несколько дней, после нашего приезда, наступила Пасха.

Великолепная теплая апрельская ночь. Одна из таких, что не забываются. Звезды нависли яркими светочами на темном бархате неба, а на земле — иллюминация.



Баронъ Александръ Борисовичъ Вревскій.
(1889—1898 г.).

Приземистый, но поместительный военный собор полон избранной публикой. Все нотабли Ташкента! Церковь не вмещает всех, и нарядные группы — дамы в светлых летних туалетах — расположились на террасах собора.

Из церкви несется «Христос Воскресе». А кругом, в сквере, все залито непрерывным бенгальским светом. И в этом свете деревья вокруг собора принимают чарующие формы.

После заутрени все военные, а также старшие чины гражданских ведомств потянулись через площадь к «белому дому» — резиденции генерал-губернатора и вместе с тем, командующего войсками округа.

Им был тогда барон А. Б. Вревский.

Спеша занять места — а их хватило на всех, — мундирная публика расселась за длинными столами, обильно заставленными пасхальными яствами и питьями.

Сутулясь, Вревский молча обходил столы с обедающими. Видно было, что ему здесь крайне скучно, что он тяготится этими обязательными для него гостями, которые так наедались за казенный счет, как будто они вообще голодают.

Начало работ

Вскоре я приступил к астрономическим работам. В это дело я внес всю энергию, которая возможна только в ранней молодости.

Условия работы были для меня крайне неблагоприятны. Жили мы в самом городе, и наша квартира была верстах в трех от обсерватории. Туда же ездить приходилось часто по два, а иногда и по три раза в день. Ночами я работал нередко до рассвета, а днем приезжал для проявления астрономических фотографий, для лабораторных работ и занятий в библиотеке.

Эти поездки были далеко не легки, особенно осенью и зимою. Некоторые улицы, а более всего дорога в переулке, ведущем на обсерваторию, обращались в глинистое, трудно проезжаемое, болото. Пока было возможно, я ездил на своей пролетке; при этом экипаж до самих осей погружался в грязь, а колеса обращались в грязевые диски. Один раз я опрокинулся, вместе с экипажем, в это болото; однажды кучер на передних колесах уехал по грязи вперед, а я на задних колесах и сидении застрял в грязи.

Иногда дорога становилась для моего экипажа вовсе непроезжей, и тогда мне приходилось преодолевать ее верхом. Это было совсем неудобно при тех весьма тонких движениях, которые надо производить пальцами при работе точными инструментами. Рука от поводов лошади уставала, и уже не было в ней, после трудной верховой езды, столь необходимой твердости. Не вспоминаю уже о грязи, доходившей выше колен лошади. Такой трехверстный путь занимал иногда в каждый конец более часу времени.

В жаркое время года приходилось на дороге совсем размякать от зноя и, кроме того, тонуть в облаках пыли. Вследствие езды в пыли с воспаленными, после работы, глазами, я получил болезнь, вызвавшую операцию глаза, для отскабливания напозавшей на зрачок пленки^[286].

И даже мои кучера становились понемногу астрономами: с вечера начинали следить за облачностью. Если небо не разъяснится, я не поеду, и можно завалиться спать.

В те ночи, когда я почему-либо не ездил на обсерваторию, проводил дома всю ночь за наблюдениями переменных по яркости звезд, наблюдая их невооруженным глазом.

Вскоре, после начала работ, я получил от своего друга С. К. Костинского из Пулковской обсерватории письмо: «Военно-топографическое управление Главного штаба спрашивает у Пулковской обсерватории совета, чтобы такое вам предписать для обязательных наблюдений. Напишите, чем вы сами занимаетесь. Мы это самое им и укажем».

Но, не дождавшись замедлившего, благодаря переписке со мною, ответа от Пулкова, Военно-топографическое управление отправило мне предписание. Незадолго перед этим Байли, в Южной Америке, обнаружил переменные звезды в некоторых звездных скоплениях. Мне и предписали наблюдать эти скопления. К сожалению, военное начальство не сообразило, что часть этих скоплений видна лишь в южном полушарии Земли, и мне, для исполнения предписания начальства, пришлось бы переселяться в Африку или Южную Америку.

Мое отношение к делу вызвало к себе внимание в ташкентском обществе и при том разного характера.

Штат обсерватории состоял тогда из трех лиц, уже давно к тому времени на ней устроившихся: заведующего — Д. Д. Гедеонова и двух его помощников: по астрономической части П. К. Залесского и по метеорологической Я. П. Гультьева. Под влиянием южного солнца и других благоприятствующих тому обстоятельств они уже давно отвыкли работать. В астрономических обсерваториях вообще, кроме первоклассных и совершенно исключительных, обыкновенно очень мало работают. Здесь это было, пожалуй, еще больше, чем в других местах, и в городе об этом хорошо знали.

Моя работа казалась таким контрастом с бездействием остальных трех, что это не могло не вызывать в них легко объяснимого раздражения и неприязненного ко мне чувства.

Наоборот, и в городском обществе, и у моего начальства, то есть в высших военных кругах, молва о моей молодой научной энергии вызвала к себе симпатии и уважительное отношение, оставшиеся неизменными в течение всех десяти лет нашего пребывания в Ташкенте.

Между прочим, обращало общее на себя внимание парадоксальное положение дел с квартирами. Все трое сослуживцев имели каждый в своем распоряжении по дому-особняку. Например, бездетный тогда еще Гедеонов, вдвоем с женой, занимали дом в семь больших комнат. У меня же, единственного, в сущности, тогда научно работавшего на обсерватории, приюта на ней не было.

Естественно возник вопрос о постройке дома и для астрофизика. Три года тянулась бесплодная бюрократическая переписка. На четвертый год совет туркестанского генерал-губернатора^[287], отнесясь к делу не с формальной стороны, а по существу, вынес постановление, что постройка дома на обсерватории для астрофизика, как облегчающая его научную работу, является краевой нуждой, а потому ассигновал средства из земских сумм края на его постройку — в виде аванса; а потом, когда дом был построен, потребовал возмещения этого аванса в Петербурге, от Военного [министерства] и Министерства народного просвещения. Так, только на пятом году работы, я попал в подходящую для нее обстановку.

Д. Д. Геденов

Несколько слов о моих ближайших сослуживцах:

Заведующий обсерваторией Д. Д. Геденов не был слишком мудрым, однако не был лишен и способностей. Как и все офицеры Генерального штаба, а особенно геодезисты, он не имел нужды очень заботиться о своей карьере. Геодезистов в России было мало, а высоких геодезических постов относительно много. Карьера каждого была обеспечена в порядке простой очереди.

Служба на обсерватории не была тяжела. Все трое — Геденов, Залесский и Гульяев — собирались на обсерватории в 11½ часов утра, обменивались городскими и служебными новостями, ровно в полдень подавали электрический сигнал в крепость, откуда раздавался полуденный пушечный выстрел, — и, за редкими исключениями, на этом дневная служба и заканчивалась. Если случалось почему-либо задержаться на полчаса, П. К. Залесский жаловался

— Как мы сегодня долго «служили»!

Главным и любимым занятием Геденова было показывание неба приезжающим на обсерваторию гостям, — особенно старшим военным чинам и их семействам. Нередко бывало, что такая компания проведет весело время в военном клубе, поужинает... А спать еще не хочется. Что же делать?

— Поедем на обсерваторию!

Такие поездки особенно участились со времени установки нового рефрактора — астрографа. Геденов показывал в него небо своим гостям, и астрограф стал любимой его игрушкой. Но затем приехал я, и инструмент перешел в мои руки для научной работы. Наезды праздных гостей, однако, продолжались. Геденов водил их ко мне в башню, мешая работать. Я стал протестовать. Из-за этого у меня возникла первая серьезная коллизия с начальством. Генерал Жилинский стал в данном вопросе решительно на мою сторону, и Геденову пришлось уступить. При своем болезненном самолюбии он не мог мне этого простить.

В результате легкой службы и беспечальной жизни Геденов стал очень уж сильно полнеть. К тому же он обладал колоссальным аппетитом. Жена моя, по роли хозяйки, бывала в большом затруднении, когда он неожиданно попадал к нам на ужин.

Причину своих сильных неладов с Жилинским Геденов объяснял мне несколько односторонне: во всем, де, виновны личные отрицательные качества Жилинского. Впрочем, к натянутым отношениям с начальством Геденов относился спокойно.

— Все равно, своего я дождусь! Жилинский уже стар и долго служить не сможет. Рано или поздно, а я буду здесь начальником военно-топографического отдела!

Как-то в церкви он увидел хорошенькую, черноглазую барышню, стрелявшую глазами. Геденов пленился и тогда же, как он мне рассказывал, решил:

— Она будет моей женой!

Барышня была дочерью скромного военно-топографического чиновника Никитина. Брак с таким женихом, начальством отца, казался ослепительной карьерой. Они повенчались. Д. Д. все время оставался влюбленным в жену.

По внешности они казались странной парой: он — огромная фигура, толстяк; она — ниже среднего роста, щупленькая. Чтобы похудеть, он стал усиленно кататься на велосипеде, и было страшно за машину, несущую такую тяжесть. Остряки, причем, уверяли, что это — велосипед по особому заказу. Похудеть ему все же не удавалось.

Много времени спустя, когда у Гедеоновых было уже двое детей, у нее открылся туберкулез. Она должна была лечиться в Крыму. И оба они умерли, хотя и в разных местах, но в один и тот же день. Она — в Крыму, от туберкулеза, он — в Ташкенте, от брюшного тифа, которым он заразился, возвращаясь в Туркестан, после посещения больной жены.

П. К. Залесский

У самого въезда в парк обсерватории стоит дом, тогда предоставленный помощнику заведующего по астрономической части П. К. Залесскому.

Грузная, упитанная фигура... Расхлябанно шагает, позванивая шпорами, и зорко оглядывается недоброжелательными глазами. Поляк и католик, ставший затем православным. При начальнике-католике генерале Жилинском посещал костел. По его уходе ревностно посещал православные богослужения.

Никто, кажется, не входил и не выходил из обсерватории без участия в этом семьи Залесских. Особенно это касалось прислуги. Залесские их часто перехватывали, угощали и расспрашивали об интимной жизни нас, их хозяев.

Гедеоновы жаловались:

— Залесский лучше нас знает, что и где находится у нас в кладовой... Сам об этом нам говорил...

Сюда же должен был заходить сторож-сарт, относивший и приносивший почту на обсерваторию. Не считая, должно быть, вследствие долгой привычки, это предосудительным, Залесский сам рассказывал мне содержание посланного как-то нами в Петербург письма.

В научном отношении он был весьма слабой величиной. Наука интересовала его лишь как дойная корова. Залесский, впрочем, и не претендовал на какую-либо научную роль. Военный топограф по образованию, но относительно способный, он только натаскался на простейшие астрономические и геодезические работы.



Петръ Карловичъ
ЗАЛЕССКІЙ.
(Род. 1850 г. † 1916 г.)

Его устремления сводились к извлечению из службы возможно больших выгод. Ловкий и хитрый, он сумел заслужить благоволение Жилинского, особенно в деле извлечения последним пользы из земельного участка обсерватории. Отвечая настроению начальства, Залесский был сначала в дурных отношениях с Гедеоновым. Когда же Жилинский стал болеть и, очевидно, должен был уходить, Залесский сумел обойти Гедеонова и заслужить его расположение. При таких условиях он всегда играл роль главной скрипки на обсерватории.

От усмотрения начальства зависели его служебные астрономические командировки, целью которых являлось определение положения опорных пунктов, нужных для картографии края. Это были весьма выгодные командировки. Кроме крупного личного путевого довольствия Залесский получал в свое распоряжение 15–18 казаков стоявшего в Ташкенте Оренбургского казачьего полка^[288], для помощи при работах и для личной охраны. Суммы на довольствие казаков выдавались фактически бесконтрольно в хозяйственные руки Залесского. Контроля за его деятельностью вообще не бывало. Помню случай, когда Залесский считался работающим где-то далеко, в Ферганской области, а на самом деле я застал его мирно проживающим в своей семье, в Ташкенте.

Эти астрономические поездки были настолько выгодны, что Залесский ездил все теплое время года. В результате, в мое время, он уже наопределял в Туркестане, где картографические работы были лишь в зачатке, столько астрономических пунктов, сколько их было в ту пору определено на всей громадной территории Североамериканских Соединенных Штатов, с широко развитой картографией. Но его определения иной раз мало имели значения. Помню, например, его тщательное определение географической широты и долготы «одинокое стоящего дерева». Завтра кочевники могли это одинокое дерево срубить или сжечь, и дорогое определение пункта пропадало зря.

На самой же обсерватории Залесский определял раз десять в год астрономическое время, да иногда давал сигнал в крепость о выстреле из пушки. Это было все.

Все свободное время — а его оставалось много — Залесский применял на хозяйничание. На 18 десятинах обсерваторского участка большая часть была под парком, а на остальной части были огороды, виноградник, громадный абрикосовый сад, разводилась спаржа и пр. Как-то выходило, что все продукты этого хозяйства поступали в личную пользу Залесского и лишь частью уделялись нужным ему посторонним обсерватории лицам. Гедеонов не имел интереса к хозяйству, был ленив и, хотя многое видел, но умышленно закрывал на это глаза.

Например, казенного отопления нам не полагалось, но Залесский возмещал это ежегодной вырубкой части парка. Дров получалось очень много, и Залесский делился ими с нужными лицами. Считая такой способ получения дров предсудительным, я от них обыкновенно отказывался, но один раз решил пошутить.

Приходит от имени Залесского смотритель обсерватории:

— На вашу долю, по разверстке, причитается восемь саженой дров. Можно ли их привезти?

— Везите.

Как раз вслед за этим я остался временно заведующим обсерваторией^[289]. Даю смотрителю официальное предложение:

— Представьте мне разрешение начальства на вырубку дров, отчетность по их распределению и данные о сумме, которую я должен уплатить за дрова в казну.

Перепугавшийся смотритель стал от меня прятаться. Я приказал увезти дрова от меня прочь.

Вскоре возвратился Залесский. Мне он не сказал ни слова, но, очевидно, сильно струсил. Два месяца он, вместе с друзьями из военных топографов, также пользовавшихся этими дровами, составляли задним числом фальшивые акты об осмотре вырубленных дров, об употреблении их будто бы лишь на нужды казны, а самый приказ на вырубку парка приписали словесному распоряжению как раз перед этим умершего генерала Жилинского^[290].

У меня коллизий с Залесским все же не бывало, — он был слишком умен, чтобы, зная свои слабые стороны, обострять отношения. Но он меня ненавидел из чувства зависти, которое в нем было господствующим. Он не мог, например, понять и не мог мне простить, почему и ташкентское высшее общество, и местные военные власти относятся ко мне не как к скромному военному чиновнику, титулярному советнику или чему-то подобному, а как к ученому, заслужившему с их стороны уважение. Например, сам «полуцарь», то есть генерал-губернатор, и сам бывает у нас, и семья его заезжает, а о нем, полковнике, они даже и не знают...

Поводом к зависти служил и построенный, под конец, для меня дом. Как позднейший по времени постройки, он имел и бóльшие удобства, чем дома старинной туркестанской постройки. Особенную же зависть вызывала ванна; она, впрочем, не давала покоя и другим на обсерватории... Из-за нее вышел анекдот:

В моем доме было устроено так, что в ванной комнате были установлены два водяных бака, отделенные переборкой. Один бак предназначался для астрофизической лаборатории, другой — для нужд дома. Казенный водовоз подъезжал каждый день и накачивал воду сначала в один бак, а затем в другой.

Во время управления Залесским обсерваторией я получаю формальное предписание:

— Водовозу мною запрещено подвозить воду для ваших частных нужд. Он будет качать воду только для лаборатории. А если вам нужна вода, заводите своего частного водовоза.

Ничего не возражая, я решил позабавиться. Воды нам не подвозят, а ванны мы принимаем по-прежнему. Откуда-то вода в дом проникает. Залесский знает об этом от нашей прислуги, которая тоже не понимает, откуда берется вода. Казенный водовоз клянется Залесскому Аллахом, что воды нам не накачивает, и это правда... Так продолжалось все время нашего пребывания в Ташкенте.

Дело было, разумеется, совсем простое: я перекинул, через перегородку, сифон между двумя баками. Водовоз, накачивая воду для лаборатории, не подозревал, как об этом не мог, по незнанию физики, догадаться и Залесский, что одновременно он накачивает воду и для квартиры.

Курьезно, что эта несчастная ванна не давала на обсерватории покоя еще много лет спустя. Когда началась большевицкая революция, чернорабочие сарты явились в квартиру астрофизика и вытащили из нее ванну. Она им вовсе и не понадобилась: валялась потом на участке обсерватории, и никто ею не пользовался.

Залесский впоследствии вышел в отставку, получив при этом генеральский чин, выстроил на скопленные деньги дом, однако вскоре умер.

Я. П. Гультьев

В научном отношении Гультьев был совершенный нуль. Он приехал в Ташкент на скромную роль смотрителя обсерватории. Тогда метеорологией края заведовал действительно дельный метеоролог Шварц. Но для дельного ученого обстановка здесь была трудновыносимая, и Шварц ушел. На открывшуюся вакансию напросился Гультьев. Метеорологии он подучился уже в Ташкенте, но работать научно вовсе не мог.

Неудивительно, что метеорология в Туркестанском крае, при его заведывании этим делом, стояла плачевно. Существовало, правда, еще от времен Шварца, десятка два метеорологических станций, но наблюдения на них производились не всегда добросовестно, благо контроля не было. О некоторых станциях определенно говорилось, что наблюдатели на них ленятся производить ранние наблюдения в семь часов утра, а записывают позже, что бог на душу положит. Это никого особенно не смущало, а менее всего Гультьева, относившегося к своим обязанностям чисто формально.

На самой же обсерватории все метеорологические наблюдения вел писарь, позже ставший смотрителем, Мартьянов.

В кругу топографов Гультьева любили благодаря уживному характеру, нетребовательности и умению быть хорошим собутыльником, что в Туркестане в ту пору высоко ценилось. Правда, в результате лицо Гультьева приобрело постоянный багровый цвет, но о нем говорили:

— Гультьев — человек хороший!

Холостяк, обладавший избытком досуга, он постоянно пребывал в военном клубе и еще в разных иных веселых учреждениях, где об его присутствии ташкентцы догадывались по его лошади.

Это была очень известная в Ташкенте «пегашка». Старая уже лошаденка, она служила Гультьеву верой и правдой и под седлом, и в его старенькой тележке. Пегашка славилась тем, что подолгу, точно верблюд, могла оставаться без корма.

— Гультьев кормит свою пегашку старыми газетами! — остряли над ним клубные завсегдатаи.

Одно лето он уехал в Россию, предоставив нам на лето свой дом. Пегашка у нас откормилась, раздобрела и стала не по возрасту резвиться. Надо было ее проездить, и жена велела запретить ее в пролетку.

Сначала все шло хорошо, но вдруг пегашка резко повернула, не повинаясь кучеру, подскакала к военному собранию и остановилась, точно вкопанная.

Знакомые острили:

— Благодарите судьбу, Мария Николаевна, что она по привычке не подвезла вас к еще более веселому учреждению.

Под конец Гулятьев женился, и у него были дети.

Много прошло лет, настал большевизм. Волна самоуправления докатилась и до Ташкентской обсерватории. Сторожа и рабочие сарты сместили заведовавшего обсерваторией астрофизика Розанова и избрали на его место Гулятьева. Честолюбец в душе, он стал «заведовать».

Начальник Военно-топографического управления генерал А. И. Аузан, раньше побывший заведующим Ташкентской обсерваторией, говорил мне:

— Пока я не принимаю против Гулятьева никаких мер. Только бы обсерватория сохранилась в возможной целостности.

Позже, моими стараниями, Ташкентская обсерватория была передана во владение созданного при деятельном моем участии Туркестанского университета.

Гулятьев оказался не у дел и уехал на север. Он пришел ко мне в Москве. Это уже был сморщившийся от старости человек, сильно исхудавший от большевицкого режима, но по-прежнему с красным лицом.

В это время Ташкентская обсерватория, по моим хлопотам, стала филиалом созданной мною же Главной астрофизической обсерватории в Москве.



Ташкентская обсерватория

Вдруг получается известие из Петрограда:

— Главная физическая обсерватория явочным порядком объявила Ташкентскую обсерваторию своим филиалом и назначила директором ее находящегося в Петрограде Гулятьева.

Честолюбие продолжало его одолевать... К этой затее никто, однако, серьезно не отнесся; последствий она не имела.

Сарты

Весь состав низших служащих — их было около десятка — были сарты. Они же прислуживали при астрономических наблюдениях. Тихий, трезвый народ!

Жили в отведенных им маленьких постройках туземного типа, глинобитных, с земляными крышами, усердно плодились, вели несложное хозяйство. Никогда у них не было слышно о крупных недоразумениях или ссорах, а тем более о пьянстве.

На нас, русских, смотрели снизу вверх, как на людей особой расы. При встречах, по сартскому обычаю, не снимали шапки, а отвешивали поклон, прикладывая правую руку к груди, — делали кулдук. Особенно усердствовал садовник Турдукул: он хватался обеими руками не за грудь, а за живот, и при этом еще приседал. Со стороны казалось, будто, при виде начальства, у него делаются схватки в животе.

Главным между сартами был служитель обсерватории Юнус. Высокий, степенный мужчина, с русой бородой, с умными глазами — всегда в халате и тюбетейке. Большой умница, присматривавшийся к нашей работе и старавшийся её понять.

В первое время он прислуживал при моих наблюдениях. Я занимался, между прочим, дневными наблюдениями за Венерой и каждый день зарисовывал, что различал на ее поверхности. Вдруг получается телеграмма: кто-то в Америке увидел на Венере светлое пятно.

— Как же это, Юнус? Мы с тобой просмотрели пятно на Венере, а в Америке его увидели...

Отвечает со степенным спокойствием:

— Если «мы» не видели, значит ничего там нет!

Он оказался прав. Через день пришла телеграмма с опровержением: в Америке поторопились: пятна действительно не было.

Приехали на обсерваторию к Гульяеву посетители — смотреть звезды. Показание шло плохо: «астроном» был слишком навеселе, и звезды на небе для него плясали.

— Поищи, Юнус, куда это девалась проклятая Большая Медведица? Никак не могу ее найти.

Юнус направил ему трубу телескопа, куда нужно.

Позже мне пришлось заменить Юнуса одноглазым стариком Кадыром. Долго я дрессировал старика, под конец научил разным маневрам, в том числе самостоятельно заряжать и разряжать большую батарею для освещения.

Работаю я как-то в верхней части башни, готовясь к ночной работе, а Кадыр в нижнем этаже заряжает батарею. Он в таких случаях брал большую ведерную бутылку с серной кислотой,

помещенную в деревянном ящике, и наливал ее в банки. Я настрого запретил ему, ввиду неоднократных попыток на это, вынимать бутылку из ящика.

Вдруг — звон стекла и неистовый крик Кадыра! Скатываюсь по лестнице вниз. Кадыр вопит с перекошенным от ужаса лицом. На нем халат и сапоги шипят, дымятся. Асфальтовый пол вокруг него тоже кипит...

Старик самовольно вынул бутылку из ящика. От тяжести серной кислоты бутылка переломилась. На Кадыра обрушилась ванна из серной кислоты, по счастью — на одежду.

Что делать? Одежда быстро горит. Секунд терять нельзя, а под руками нет ничего, нейтрализующего кислоту. Схватываю старика за руку и силой волоку, без лишних разговоров, к протекающему неподалеку большому арыку. Старик, обезумевший от страха, бьется из рук, сопротивляется... Бросаю его в воду.

Одежда погибла, но сам он спасся, отделался мелкими ожогами.

Чертовщина

— Хотите со мною ловить черта?

— Что за шутка, Дмитрий Данилович?

Нет, Гedeонов не шутит.

У Юнуса — домашняя драма. Его давно огорчало неимение детей от жены, уже пожилой сартянки. Впрочем, и ему самому было уже под пятьдесят.

Горю помочь легко. Знакомые и друзья всё учат:

— Возьми себе, Юнус, вторую жену.

Юнус высмотрел восемнадцатилетнюю сартянку. Старая жена стала буйнить и протестовать. Но кто же из мусульман станет в таком деле считаться со старой женой?

Отпраздновали свадьбу, начались медовые дни.

Вот здесь и началась чертовщина. Жил Юнус в отдельном домике, среди парка. И каждый вечер на его саклю стали падать, как будто с неба, камни. Очевидно, небо решило вмешаться в его семейные дела. Значит, богу не угоден его второй брак...

Ясно, что в дело вмешался сам шайтан. Каждый день падают камни. Юнус выходит, смотрит. Никого нет! А камни продолжают лететь — то в окно, то в самого Юнуса.

На обсерватории растет тревога, особенно среди сартов:

— Шайтан! Шайтан...

Нечистые силы разыгрались: надо, стало быть, всем правоверным мусульманам уходить с этого места, с этой обсерватории.

Стали заражаться тревогой и некоторые из русских.

Этому надо было положить конец. Мы сговорились с Гедеоновым поймать нечистую силу. Взяли из окружного штаба команду писарей и рабочих из военной типографии. Сели с ними в засаду: Гедеонов — в зарослях внутри, я — в кустах снаружи, в примыкавшей к обсерватории улочке.

Разнервничавшийся наш писарь Мартьянов услышал шорох ночной птицы. Завопил:

— Начинается...

Его, однако, успокоили.

Мы просидели в засаде несколько часов. Чудес не было, и они более не повторялись. Шайтан или, вернее, родственники первой жены признали дальнейшие демонстрации бесполезными.

Домашняя жизнь у Юнуса наладилась. У него родился сын, и Юнус был на вершине блаженства.

Бухарский раввин

Приходят несколько халатников, с черными бородками, сильные брюнеты, с более или менее горбатыми носами:

— Мы — бухарские еврейские студенты. С нами прибыл из Бухары наш ученый раввин. Он просит позволения, господин профессор, посетить обсерваторию!

На другой день приезжает симпатичный старик, лет под семьдесят. Румяное лицо, кругленький, совсем седой, в халате и ермолке. Его сопровождают, проявляя к нему высочайшее почтение, десятка два бухарских евреев разных возрастов.

Принял я его любезно, провел по всем помещениям, показывая инструменты. Затем в библиотеке показал ему более интересные астрономические иллюстрации и фотографии.

Старик рассматривал всё очень внимательно, а «окружение» стояло почтительной толпой, и ни один не позволил себе вмешиваться в наш разговор или задать в присутствии раввина свой вопрос. А разговор наш с раввином был такого рода:

— Позвольте вот о чем спросить: профессор Пифагорас думает, что Земля стоит посередине, а Солнце ходит вокруг нее. А профессор Коперникус думает, что Солнце стоит посередине, а Земля обходит вокруг него. А как вы думаете?

— Я думаю, что прав профессор Коперникус...

Мы расстались друзьями, и еще целый ряд лет я встречал то в Ташкенте, то проездом через Бухару каких-то бухарских евреев, очевидно — из бывших на обсерватории, которые любезно раскланивались и говорили:

— Вам просил кланяться наш раввин!

Сарты на обсерватории

Нередко приходилось иметь дело и с сартскими учеными и муллами. Они признавали в астрономических вопросах полностью наш русский авторитет.

Одним из поводов к нашему соприкосновению было определение момента того новолуния, после которого правоверным надо начинать праздновать свой пост Уразу, иначе — Рамазан. Муллы пользовались старинными таблицами лунных фаз, составленными в Бухаре, так как Средняя Азия вообще находится под сильным влиянием духовных ученых Бухары.

Но затем муллы стали приезжать ко мне за справками о моменте новолуния. Так как они наглядно убеждались в том, что эти нехитрые предсказания сходились с действительностью гораздо лучше, чем указания их бухарских таблиц, то понемногу ташкентские муллы ввели в правило посовещаться со мною ранее, чем объявлять народу о моменте начала Уразы.

Однажды я читал в Туркестанском археологическом кружке^[294] доклад об Улуг-беге — средневековом самаркандском государе, бывшем одновременно и знаменитым астрономом той эпохи. В числе моих слушателей был и генерал-губернатор С. М. Духовской. Старика поразила та высота, на которой стояла в эпоху Улуг-бега астрономия в Самарканде. И в его голову пришла мысль восстановить, во время своего управления краем, былую астрономическую научную высоту в Туркестане.

— Постарайтесь воскресить старое! Прививайте ученым сартам интерес к астрономии.

— Трудно это будет, ваше высокопревосходительство!

— Ну, ничего. Попробуем! Собирайте время от времени мусульманских ученых. Показывайте им в телескоп небо, объясняйте. Так мало-помалу у них и привьется вкус к астрономии.

С таким высоким начальством, как «полуцарь», не поспоришь...

Духовской обращается к начальнику города Ладыженскому:

— Оповестите всех ученых сартов, чтобы являлись на обсерваторию слушать лекции астрофизика Стратонова. О днях — сами сговоритесь с ним.

— Слушаюсь!

В назначенный мной вечер приехало десятков пять седобородых старцев, в халатах и чалмах. Поприезжали верхом, в сопровождении своей челяди. Это были народные судьи (кази), пользовавшиеся высшим авторитетом в народе, и муллы, из числа более почтенных. Многие, если только не все, приехали только потому, что узнали о воле на этот счет «полуцаря» и захотели выслужиться.

Объяснять приходилось через переводчика. Показывал им я самое элементарное. Но видел, что стариков все это интересуется не более прошлогоднего снега. Опыт дал грустные результаты.

— Когда опять прикажете нам приехать?

Обещал уведомить их через начальника города. Сам же решил поспекулировать на забывчивости старика Духовского и не созывать более сартов, пока он сам об этом не напомнит. Так и вышло: он забыл о своей затее. Эти старцы ко мне более не приезжали.

Между прочим, в связи с этим моим докладом в археологическом кружке, возник интерес к вопросу о том, где именно в Самарканде находилась обсерватория Улуг-бега. Обыкновенно думали, будто он производил наблюдения на знаменитой мечети Улуг-бег, на Регистане, в Самарканде. Мне это представлялось невероятным.

Председатель кружка, директор мужской гимназии Н. П. Остроумов, запросил об этом большого знатока местных древностей и документов, служившего чиновником при самаркандском губернаторе; фамилия его, кажется, была Лапин.

Последний нашел документ, устанавливающий, что обсерватория была не в самом Самарканде, а в нескольких верстах от него. Документ указывал даже довольно точно самое предполагаемое место обсерватории.

Я предполагал заняться здесь раскопками, но все откладывал, занятый срочной работой. Раскопки были произведены уже после моего выезда из Туркестана, и действительно здесь нашли остатки обсерватории. Сохранились даже кое-какие старинные инструменты. Раскопками в научном отношении руководил заведовавший нашей обсерваторией Осипов.

Рентгеновская станция

В самом начале века, как только прогремело на весь мир открытие Рентгеном своих лучей, я почти тотчас же завел у себя в лаборатории соответственное обзаведение.

Это была первая рентгеновская станция на всю Среднюю Азию, а вероятнее и на всю азиатскую Россию. Новинка вызвала к себе громадный интерес. А затем моей рентгеновской станцией стали пользоваться и врачи хирурги.

Около этого времени умер С. М. Духовской, и на его место генерал-губернатором был назначен Н. А. Иванов.

По местному обычаю нового «полуцаря» приехали поздравлять делегации от эмира бухарского и хана хивинского^[296]. Желая доставить делегациям развлечение, Н. А. Иванов просил продемонстрировать делегациям рентгеновские лучи.

Приехала сначала ко мне делегация бухарцев. Во главе ее прибыл любимец эмира, его министр финансов Астанакул. Человек лет за сорок, полный, чернобородый, в богатом халате. Приехало с ним еще пять чиновников разных рангов.

Стал я демонстрировать опыты. Бухарцы захохали, увидев на экране кости своих рук, скрытые в деревянных ящиках металлические предметы и т. п. Один Астанакул соблюдал величавое спокойствие, старясь быть невозмутимым.

Тогда я попросил его портмоне — бархатный мешочек. На экране стали вдруг пересыпаться изображения золотых бухарских монет. Бухарцы заохали еще больше, но Астанакул делал вид, будто его ничто удивить не может.

Пригласили мы бухарцев на чашку чая, а чай у нас был хороший, прямой полочки из Китая, через знакомых моряков. Вот чай на Астанакула произвел впечатление, он пил чашку за чашкой.

На другой день приезжает бухарский чиновник:

— Министр финансов просит принять на память!

Этого еще не доставало... Неприятное положение! Отказаться нельзя, по местным обычаям это было бы сочтено за оскорбление депутации. Пришлось принять: два-три халата, несколько полос бархатной материи, несколько кусков шелка...

Через пять дней прибыли хивинцы. Во главе их стоял молодой наследник престола. Кажется, его звали Асфендиар-хан. Высокий, стройный молодой человек, с только начавшей пробиваться бородкой, но тоже в богатом халате, увешанный дорогим, разукрашенным камнями оружием.

Показывал я им все то же, что и бухарцам. Удивляются, охают, но не уходят. Что же с ними еще делать? Стал показывать фотографии Луны, карты Марса. Объясняю, что один из больших каналов на Марсе назван Оксос и что это значит Аму-Дарья.

Хивинский наследник так и подскочил:

— Хивински Аму-Дарья?

— Она самая!

Хивинцы — народ бедный. В благодарность я получил фотографический портрет наследника престола с его надписью по-хивински.

Позже этот наследник успел стать ханом, последним хивинским ханом, которого застал на престоле большевизм, и который пережил весь большевицкий разгром Хивы.

Генерал Куропаткин

Прибыл в Туркестан генерал А. Н. Куропаткин. Он был тогда военным министром, и ему был непосредственно подчинен этот край. Куропаткин был, вместе с тем, старый боевой туркестанец, и его поэтому здесь встретили особенно торжественно. Это было еще до Японской войны, и звезда Куропаткина, как сподвижника Скобелева, стояла очень высоко.

Между прочим, ему должен был представиться штаб округа с военно-топографическим отделом и нашей обсерваторией. Были выставлены на столах работы топографов, а особый стол занимали труды обсерватории — точнее говоря, мои труды, потому что других там тогда не было.

В строю военных мундиров я один стоял во фраке и этим обратил на себя невольное внимание министра. Когда же он увидел стол с моими книгами, то нахмурился:

— Почему ваши книги напечатаны по-французски?

— В России, ваше высокопревосходительство, слишком мало специалистов, которые могли бы их прочесть. А астрономы всего остального мира по-русски не поймут.



Куропаткин нахмурился еще больше:

— Ну, а если русский офицер захочет прочесть вашу книгу и вдруг встретит незнакомый ему язык?

Я замолчал. Трудно было сказать недовольному министру, что если русский офицер возьмется читать специальные книги по астрономии, то, конечно, он знает и по-французски. Оглянувшись: вижу — кругом нахмуренные из сочувствия к рассердившемуся министру лица, точно съесть меня хотят.

— Вот что, — сказал Куропаткин, — в будущем вы печатайте свои книги не иначе, как на обоих языках: русском и французском! А так как у вас, вероятно, не хватит на это средств, то обратитесь ко мне. Я вам их дам!

— Слушаю!

Он любезно мне кивнул. Смотрю — все кругом смотрят на меня любезно...

Прошло около года. Мне как раз понадобилось печатать 4 и 5 тома своих «Трудов Ташкентской обсерватории». Помня предложение Куропаткина, я подал, для отсылки в Военное министерство, смету для их напечатания. Зная привычку министерства сильно урезать сметы, я ее составил с большим запасом.

Ответ, к моему удивлению, пришел весьма быстро. По распоряжению Куропаткина деньги были отпущены немедленно и безо всяких урезок.

Судьбы изменчивы. Позже Куропаткин вновь вернулся в Туркестан на сравнительно скромный для него пост генерал-губернатора. Здесь его и захватил большевизм.

Коллизии

С первого же года выяснилось непримиримое противоречие во взглядах на служебную работу моих сослуживцев и моих личных.

Обсерватория, как уже говорилось, в сущности, ничего не делала, ограничиваясь показной видимостью работы. Это не стоило много денег, и к концу года получались остатки, которые распределялись между персоналом.

С моим приездом дело изменилось: я старался улучшить научное дело. Мои работы обходились относительно дорого. Впоследствии на них были испрошены специальные ассигнования, сначала же на них расходовались общеобсерваторские средства. Я принялся также и за библиотеку, которая была запущена, так как уже давно не пополнялась покупкою книг; я же настоял на выписке и новых книг и новых журналов. В результате к концу года остатков более не образовывалось, распределять «на гуся» стало нечего, и теплых ко мне чувств это обстоятельство ни в сослуживцах, ни в их семьях не возбуждало.

Гедеонов выходил из себя:

— Вы точно Нерон уничтожаете обсерваторские деньги!

По своей молодой преданности делу я мало обращал внимания на его недовольство. Толстый, ленивый, он больше всего дорожил покоем, а я часто возбуждал новые вопросы. Накопившееся недовольствие у него под конец прорвалось в бурную вспышку:

— Вы всегда чем-нибудь да не удовлетворены! Когда вы идете на обсерваторию, мы уж знаем наперед, что вы поднимете какой-нибудь вопрос. Так всегда и бывает. Мы молчим, но мы все против вас. Вы заявляете преувеличенные претензии. А вы должны помнить, что между нами вы последняя спица в колеснице, потому что мы все старше вас чинами, а вы — только коллежский секретарь!

При этом резком объяснении под конец и я вскипел. Перешел с ним сразу на официальный тон. Вместо «Дмитрий Данилович», стал называть его «господин полковник». Эта официальность, которая сохранилась до самого конца моего пребывания в Ташкенте, избавила меня от повторения подобных объяснений.

Через несколько дней возвратилась отсутствовавшая из Ташкента жена Гедеонова. Должно быть, она не одобрила выходки мужа. Они оба пришли к нам запросто, делая вид, будто ничего не произошло. Мы их встретили с холодной корректностью, но без обычной приветливости, и они поняли, что частные дружеские отношения кончены.

Как бы ни был я виноват в чем бы то ни было, и благодаря тяжелому характеру, и благодаря молодости и ее промахам, но в моих действиях никогда не было личной корысти какого-либо вида: с

молодой, быть может и утрированной добросовестностью, я старался только об интересах научного дела, и это понимали все посторонние, почему с разных сторон я видел моральную себе поддержку.

Мой конфликт с Гедеоновым был усердно использован Залесским для углубления разрыва. Он постоянно растревлял против меня самолюбие Гедеонова — и не без успеха. Но он старался и мне, под личиной участия, передать то одно, то другое о словах и действиях Гедеонова, что могло бы возбудить меня еще более.

Не раз бывало, что Гедеонов пытался наделать мне неприятностей, пользуясь своим военно-дисциплинарным преимуществом. Но его сдерживал генерал Жилинский, сам недолголюбивавший Гедеонова и, вместе с тем, всегда шедший навстречу моим научным устремлениям. Да и я был уже постоянно начеку и избегал обращаться с чем бы то ни было к Гедеонову.

Катастрофа, тем не менее, произошла.

Дело о ключах

После трехлетнего пребывания в Ташкенте мы с семьей уехали на полгода в Россию.

Уже говорилось, что Гедеонов особенно любил показывать своим гостям небо в переданный мне для работ большой телескоп. Мои работы заставили его, было, отказаться от такого использования инструмента; но, во время моего полугодового отсутствия, он широко возобновил это свое развлечение.

По моем возвращении ему, очевидно, показалось обидным для самолюбия передать мне всецело телескоп, и он продолжал им пользоваться для своих гостей.

Придя как-то с этой целью в башню, он нашел случайно закрытым ящик с окулярами. Вспыльчивый человек, он немедленно написал мне резкую официальную бумагу, в которой потребовал, чтобы я все ключи вывешивал в обсерватории на определенном месте для того, чтобы все и во всякое время было ему доступно.

Требование я исполнил, но подал рапорт с указанием на затруднительность для меня в таких условиях вести научную работу.

Произошел еще обмен официальными бумагами. Борьба с точки зрения военной дисциплины была неравна; но я отвечал обдуманно и посоветовавшись предварительно с одним опытным другом; Гедеонов же, рассчитывая на свое преимущество, писал сторяча и весьма резко. Кончилось тем, что на мое объяснение, по поводу выставленных им неосновательных против меня обвинений, Гедеонов объявил мне письменно «строгий выговор за неуместную полемику с начальством».

Ввиду несправедливости выговора я перенес дело в высшую инстанцию, то есть обратился с жалобой к генералу Жилинскому. Пред Жилинским открывались две возможности: успокоить конфликт, создав приемлемый для обеих сторон компромисс, или свести свои счета с зарвавшимся на этот раз Гедеоновым. Жилинский выбрал второе и, заручившись принципиальным согласием с ним

начальника штаба округа, закатил такой разнос Гедеонову, что тот, потерявши вследствие уязвленного самолюбия голову, сам подал жалобу на Жилинского.

Так называемое «дело о ключах» разгорелось. Теперь уже шла борьба между Жилинским и Гедеоновым, но орудием борьбы пришлось быть мне.

И начальник штаба, симпатичный генерал Писаренко, и заведовавший судным отделением штаба Зуйков не подвели этого дела под обычный военно-дисциплинарный конфликт, но старались найти примиряющий выход. Было, однако, ясно, что правым они считают меня.

Встретившись с глазу на глаз на обсерватории с Гедеоновым, я предложил, не пожелает ли он мирно прекратить весь инцидент, так, чтобы было удовлетворено его самолюбие, но, вместе с тем, чтобы и я мог беспрепятственно работать. Сначала Гедеонов отозвался, было, на моё предложение, но потом его вдруг точно муха укусила:

— Нет! Никаких соглашений! Еже писах — писах! Имею честь...

— Хорошо! Честь имею...

Расследование кончилось в мою пользу. Мне предложили самому указать, какой порядок меня удовлетворил бы. Я предложил: ключи, конечно, остаются доступными заведующему обсерваторией; но мне предоставляется право каждый раз, когда я это по ходу научной работы сочту нужным, вывешивать объявление о недоступности инструмента, и тогда ни Гедеонов, никто бы то ни было другой не имеют права к нему прикасаться.

Такое решение и было принято, и утверждено оно было командующим войсками округа генералом Ивановым, вследствие чего оно становилось обязательным и для всего промежуточного начальства.

Но этим дело не ограничилось. Генерал Иванов поручил начальнику штаба объявить Гедеонову, что он ведет себя «как старая баба» и что, если он не угомонится, так в дело вмешается сам командующий войсками.

Такая резолюция для болезненного самолюбия Гедеонова оказалась вовсе непереносимой. Он подал прошение о переводе его с понижением на Кавказ, на должность офицера для астрономических поручений. Это было удовлетворено.

Уезжая, он обещал вскоре вернуться в Ташкент на место состарившегося Жилинского.

И действительно возвратился...

Общественная жизнь

Туркестанские генерал-губернаторы

Отрезанность, благодаря расстоянию, Туркестана от остальной России, а также подчиненность этого края, в виде исключения, не гражданской власти, а непосредственно военному министру, делали из пяти областей: Сыр-Дарьинской, Самаркандской, Ферганской, Закаспийской и Семиреченской —

как бы особое государство. В первое время нашего пребывания в крае он, впрочем, состоял только из трех первых областей. Тогда Закаспийской областью управлял бывший при покорении оазиса начальником штаба у генерала М. Д. Скобелева генерал А. Н. Куропаткин. Ради него для Закаспийской области было создано привилегированное положение. В то время, как все остальные военные губернаторы в Туркестане приравнивались к начальникам дивизий, генерал Куропаткин приравнивался к командиру корпуса и подчинялся непосредственно Петербургу. Но вскоре Куропаткин был назначен военным министром, и тогда особое положение области кончилось. Вместе с Семиреченской областью она была присоединена к Туркестанскому генерал-губернаторству.

Пост генерал-губернатора, который одновременно командовал и войсками округа, имел выдающееся значение. Оно усиливалось пограничностью края и возможностью грозить отсюда англичанам в Индии. Угроза эта в ту пору отнюдь не была мифической, и в штабе округа соответственные планы похода разрабатывались, а для офицеров читался курс языка индустани. Правда, туркестанских войск — их стояло там лишь два корпуса — было для такого похода мало. Но стратегическая подготовка шла и другим путем. Железная дорога от Каспийского моря до Самарканда была уже фактом. Вскоре соединили железным путем Самарканд и Ташкент. Затем стали строить дорогу из Оренбурга в Ташкент и собирались приступить к железной дороге на Верный и дальше к Сибири. Все это сильно увеличивало стратегическое значение Ташкента.

Среди туземного населения, вообще весьма законопослушного, туркестанский генерал-губернатор ставился очень высоко. Его называли «полуцарем». И это было правильно, потому что по всем туземным делам в Петербурге смотрели глазами местной власти.

Политическое значение этого сановника, его роль в отношении соседних независимых государств и полунезависимых Бухары и Хивы, — требовали особенно осмотрительного выбора. Но, как вообще в России, особенно в последнее царствование, назначение основывалось лишь на протекции.

Роковой для каждого генерал-губернатора считалась неизбежная время от времени поездка в Петербург. Произведенное им в «сферах» впечатление часто решало его судьбу: назад генерал-губернатор более не возвращался. Все это понимали, и генерал-губернаторы очень не любили ездить в столицу, пока их настойчиво туда не вызывали.

Прежние генерал-губернаторы

Мы застали Ташкент еще полным воспоминаний об известном устроителе края первом генерал-губернаторе К. П. Кауфмане. Талантливый администратор и смелый военачальник — он был здесь даже не полуцарем, а, пожалуй, на все три четверти. Его эпоха для Туркестана напоминала потемкинские времена для Новороссии. Культурные следы времени его управления были глубоки и встречались повсюду.

Жил он в Ташкенте как азиатский владыка. Не жалея средств на культурное устройство края, он широко приходил средствами казны и на помощь частным нуждам подчиненных. Это содействовало его популярности.



Были у него и крупные человеческие слабости. Легенды тесно связывали его имя с именем г-жи Каблуковой, властной женщины, неофициальной «полуцарицы». Кауфман ей подчинялся, и перед Каблуковой падали ниц, ибо ее милость или немилость для служащего лица часто бывали решающими. Эта сторона жизни края была описана в романе Ильина, название которого сейчас не вспоминаю. В романе Каблукова фигурирует под именем Башмаковой. Современники рассказывали, что при общих памфлетных целях автор фактически не удалялся от истины.

Кауфмана сменил генерал М. Г. Черняев, завоеватель Ташкента, известный впоследствии вождь русских добровольцев в Сербии в 1876 году. Его управление Туркестанским краем было коротким, лишь двухлетним, и оно вовсе не оставило по себе хорошей памяти. Это было управление, напоминающее деятельность щедринского градоправителя Архистратига Стратиловича. Ему вменялось в вину пресечение ряда культурных начинаний Кауфмана. Черняев, военный герой, явно был непригоден для роли управителя, и его отстранили. Он оказался на некоторое время совсем в тени, пока снова не вышел на свет благодаря событиям в Сербии.

Следующий генерал-губернатор, Розенбах, был просто бесцветен. Хотя он управлял краем как раз перед нашим приездом, о нем даже мало кто и вспоминал. С его именем, впрочем, связывалось развитие системы получения подарков от эмира бухарского, начавшей принимать скандальные размеры. По Туркестану ходила карикатура: эмир сидит на тахте с голой ногой; одну штанину уже

стянул Розенбах, а за другую ухватился новый генерал-губернатор барон Вревский; эмир, стараясь прикрыть свою наготу, отчаянно сопротивляется стягиванию последней штанины.

Подарки эмира бухарского

Эмиры бухарские собрали, азиатскими приемами управления, громадное состояние. Точная цифра не была известна, но слухи определяли состояние эмира не меньше, как в сто миллионов рублей.

Об его богатстве могли бы дать более точные сведения большевики. Они вторглись в Бухару под предлогом освобождения угнетенных бухарских пролетариев от власти буржуазных эмиров. На самом же деле разграбили всю Бухару и прежде всего сокровища эмира. Но у них награбленные богатства расплывались между пальцами без достаточной регистрации.

В ту же пору эмир бухарский Абдул-Ахад-Багадур-хан, очень умный человек и тонкий политик, умело пользовался своим богатством и для сохранения своей государственной полунезависимости, и для увеличения личного своего значения. Он достигал этого щедрым одариванием высокопоставленных и влиятельных лиц. И прежде всего это относилось к туркестанскому генерал-губернатору и его окружению.

Позже эмир учредил свой известный орден «Бухарской звезды». Орден раздавался горстями. Только немногие пренебрегали бухарским «отличием». Большинство же — и чиновников, и офицеров — были в восторге от возможности украсить свою грудь звездой — хотя бы бухарской, хотя бы серебряной.

Звезды эти были разных степеней: золотые, усыпанные бриллиантами, просто золотые, серебряные позолоченные, просто серебряные... Каждому — по мере его влияния, от особ царской фамилии до стоящих на улице у входа полицейских околоточных надзирателей.

Время от времени эмир ездил в Россию, и его часто сопровождал в таких случаях наш хороший знакомый Д. В. Белов, бывший ту пору адъютантом при туркестанском генерал-губернаторе. Поезд эмира, как рассказывал Белов, на всех линиях и станциях прямо штурмовался охотниками за бухарскими звездами. На какой-нибудь маленькой станции, где поезд стоит минуту, врывается в вагон эмира офицер в парадном мундире, с почетным рапортом:

— Честь имею доложить вашему высочеству, что во вверенной мне конвойной команде все обстоит благополучно!

Эмир презрительно усмехается, но начальник конвойной команды выходит из двинувшегося уже поезда с серебряной звездой.

Подарками эмир добивался и увеличения своих титулов: мы застали его с титулом «ваше степенство», точно купца; потом он стал «вашей светлостью», дошел до «вашего высочества», и получил чин, которым он особенно гордился, генерал-лейтенанта по Терскому казачьему войску.

В нужные моменты Абдул-Ахад-Багадур-хан умел произвести впечатление своим пожертвованием на общегосударственные цели. Во время сбора в России на голодающих он пожертвовал сто тысяч рублей. А в эпоху увлечения сбором на усиление военного флота он предоставил средства на сооружение особого миноносца; так был построен миноносец «Эмир Бухарский».

При генерал-губернаторе бароне Вревском вопрос о приеме подарков от эмира был формально узаконен. Два раза в год, к Пасхе и к Рождеству, эмир присылал в Ташкент посольство поздравлять генерал-губернатора с наступающими праздниками. Посольство приезжало в составе 5–6 бухарских сановников, чаще всего во главе с министром финансов Бухары — диван-беги. Оно задаривало генерал-губернатора подарками: коврами, оружием в драгоценной оправе, шелковыми и бархатными халатами и кусками материи и т. п. Вещи эти, в случае их реализации, стоили бы десятка два тысяч рублей. Кроме того, обдаивалась и женская часть семьи генерал-губернатора: золотом, бриллиантами, тканями, — а также и некоторые из старших должностных лиц при «полуцаре»: управляющий канцелярией его и пр.

Два раза в год посылалось и ответное посольство от генерал-губернатора к эмиру поздравлять его с наступающими мусульманскими праздниками. Во главе делегации ставился адъютант или чиновник особых поручений при генерал-губернаторе и переводчик канцелярии. Они также везли подарки эмиру, но уже приобретаемые на счет казны. На такие подарки ассигновывалось каждый раз по несколько тысяч рублей. Эмиру подносились хотя и ценные, но совершенно ему не нужные вещи. Таким образом у него составилась целый музей бесполезных подарков: коллекция граммофонов, серебряных чернильниц, серебряных жбанов для вина, которое мусульмане не пьют, и т. п.

Из-за этих командировок с подарками к эмиру между состоявшими в окружении генерал-губернатора шла ожесточенная борьба и интриги, потому что это было очень выгодным делом. Эмир щедро одаривал посольство, и реализацией его подарков глава посольства более чем удваивал свой годовой бюджет.

Специализовавшийся на возглавлении таких посольств Д. В. Белов нам рассказывал:

— Перед этой командировкой я всегда смертельно боюсь, как бы не заболеть. Из-за какой-нибудь нелепой болезни можно потерять несколько тысяч рублей. Прежде всего я принимаю и слабительное, и закрепляющее...

— Что же вы это делаете?

— Ну, природа там сама разберет, что ей нужно! Авось, что-нибудь да поможет.

— Когда мы приезжаем в Бухару, нам назначается аудиенция у эмира. Приходим в парадной форме, я произношу от имени генерал-губернатора соответственную речь. При выходе от эмира нам подносят от его имени подарки: тюки с халатами, с полдюжины, а то и десяток тюков. В каждом тюке наверху парчовый халат, затем бархатный, шелковый и т. д. до самого простого. Это — полный комплект бухарского обмундирования — на все случаи жизни. Подносят также и ковры, ткани...

Приходим домой; к нам тотчас же является бухарский чиновник или купец, поставляющий во дворец подарки, и откровенно спрашивает: «Не желаете ли, чтобы не возиться, получить, вместо халатов или ковров, их стоимость наличными? Ваши подарки стоят столько-то!»

Мы получаем деньги и возвращаем халаты. На другой день или через день являемся откланяться эмиру. При выходе опять получаем тюки халатов, быть может, те же самые, что мы накануне продали, а дома опять обмениваем их на деньги...

Ковры и дорогие ткани не сбывались на месте, а отвозились в Самарканд или Ташкент, где их с большей выгодой продавали местным купцам или знакомым.

Отказаться от подарков эмира считалось невозможным: это значило бы оскорбить «его высочество». Никто, впрочем, и не отказывался.

То же, но в гораздо более скромных размерах, происходило и в отношении Хивы. Хан хивинский был много беднее, и подарки его были редкими, скромными. Зато и честь хану была скромная...

Барон А. Б. Вревский

Барон Александр Борисович Вревский, в мои студенческие годы, был начальником штаба Одесского военного округа. Мне часто приходилось встречаться с офицерами окружного штаба, и они постоянно рассказывали служебные анекдоты о Вревском. Выходило, по рассказам, что он совершенно не справляется с обязанностями, в делах разбирается плохо и кладет анекдотические резолюции.

Поэтому, когда получилось известие, что Вревский назначен туркестанским генерал-губернатором и командующим войсками округа, по Одессе пошла острота:

— Англичане дали в Петербург очень крупную взятку, чтобы в Ташкент назначили Вревского. Через несколько лет я застал Вревского в Ташкенте.

О нем и по Ташкенту ходило немало рассказов. Командование войсками округа, по-видимому, его мало занимало, и он во всем полагался на начальника штаба генерала Хорошхина. Как администратор, он также ни в чем не проявлял своего индивидуализма. Говорили, что он во всем соглашается с докладчиками. Ему, однако, повезло в том, что гражданские дела оказались в руках весьма почтенного человека, управляющего его канцелярией Нестеровского.

Все же впечатление было таково, что край при Вревском распустился, и все распоясывается. На слабость управления Вревского было обращено внимание в Петербурге, и была назначена ревизия края. Во главе ревизионной комиссии был послан грозный ревизор военного ведомства, генерал Баранок. Его имя наводило ужас на чиновников. Кто был этот Баранок? Думаю, что он мог быть чехом, там есть фамилия Беранек (барашек), которая, как часто бывало с чешскими фамилиями, слегка переделалась.

Особенно трепетала ревизии Ферганская область, и, конечно, не без основания. Далекая от глаз начальства, она особенно поддавалась влиянию разнеживающего южного солнца и азиатской халатности. Но очень волновался и сам Вревский, чувствовавший, что острие ревизии направлено против него.

Приехал Баранок и начал метать молнии. Но почти тотчас же сильно заболел.

Крылатая молва разнесла, что Баранок отравлен ревизуемыми. Конечно, это было совершенным вздором, но Вревский еще больше взволновался, боясь, что эта сплетня дойдет до столицы.

Баранку потребовалась спешная операция. Лучшим хирургом в Ташкенте был тогда доктор Фогель, сам в это время бывший при смерти вследствие туберкулеза. Вревский лично приехал к Фогелю и упросил его подняться с постели и сделать операцию Баранку.

Фогель, военный врач, не счел возможным отказаться. Встал и сделал операцию. Как утверждала вдова Фогеля, именно этот шаг вызвал ухудшение здоровья и скорую смерть самого Фогеля. Но не удалось спасти и Баранка, он умер.

По Фергане пошли гулять стихи:

Как ни ужасен и жесток
Генерал был Баранок,
Но на сей раз Фергана
Рукой хирурга спасена.

Так молва истолковала, будто Фогель зарезал Баранка...

Со смертью Баранка вопрос о ревизии края естественно отпал.

Вревский был большим барином, и этим пользовались как окружающие его, так и большой штат служащих при доме. Его безбожно обкрадывали. Бывало, что, несмотря на большие расходы, гости с его официальных приемов уходили совсем голодными. Случалось, что не бывало в доме чем поужинать и ему самому. А штат служащих наживался.

Это было связано с семейным положением Вревского. Он был одинок, кажется, вдовец. Но у него в доме постоянно сменялись племянницы, при которых состояла, независимо от возраста племянниц, бессменная гувернантка — англичанка мисс Хор.

Племянницы легко выходили замуж — всегда находились охотники породниться с правителем края, — выписывалась новая племянница, и ее опекала мисс Хор.

Конечно, никто к ней и не относился как к гувернантке, а как к «морганатической» генерал-губернаторше. К ее чести надо, однако, сказать, что она никогда и ни в чем не злоупотребляла своим положением и на роль хозяйки дома не претендовала.

Маленького роста, худощавая, англичанка очень любила повеселиться и потанцевать, хотя ее возрасту это уже недостаточно соответствовало. Русским языком она никак овладеть не могла, и об ее выражениях ходили анекдоты. Например, как-то говорит:

— Он ни мать, ни отец, а проходимец!

В чем дело? Никто не понял. Потом объяснилось. Она хотела сказать: «Он ни в мать, ни в отца, а в прохожего молодца».

Время от времени Вревский должен был устраивать официальные балы, которыми он очень тяготился. На балы, кроме старших чинов всех ведомств, приглашалась и сартская знать. Это были по преимуществу старики, судьи (кази), — в своих богатых бархатных халатах, с белыми чалмами. Женщин, сартянок, разумеется, тогда быть не могло. На один из балов был по протекции приглашен прибывший из Ферганы сартский поэт, еще молодой человек.

Позже он описал этот бал в стихах, написанных в восточном стиле. Бедный поэт был ошеломлен невиданным великолепием. Обе хозяйки — мисс Хор и племянница Ладыженская — изображены им были прекрасными как ангелы^[312].

Но более всего поразило поэта то, что в залах была сотня позолоченных стульев, и между ними не было ни одного поломанного.

При общей слабости характера Вревский иногда проявлял вспышки, отдававшие самодурством, что плохо вязалось с общим его джентльменством.

Он жил летом на даче, далеко от города. В военном соборе, 22 июля, в день именин императрицы Марии Федоровны, должно было происходить торжественное молебствие. А Вревский не приезжает.

Протоиерей военного собора, о. Конст. Богородицкий, очень осторожный и дипломатичный иерей, не знал, как быть. Собор переполнен собравшимися нотаблями в парадной форме... Все недоумевают. Телефона на дачу генерал-губернатора не было, узнать о намерениях генерал-губернатора нельзя, а он все не приезжает. Вдруг он почему-либо совсем не приедет... А не отслужить царского молебна ведь тоже никак нельзя.

Проходит полчаса, час... Богородицкий решается, начинает службу.

Вслед за тем подъезжает коляска с Вревским и адъютантом. Что-то их задержало в пути.

Вревский входит в собор и видит, что молебствие началось. Вспылил, весь покраснел...

Жестом руки останавливает молебствие.

— Вы позволили себе, — обращается он к протоиерею, — начать молебствие, не дождавшись главного начальника края! Объявляю вам за это выговор...

Вревский оглянулся и сделал широкий жест рукой:

— Всенародный!!

Богородицкий молча поклонился.

Мне пришлось неоднократно лично общаться с Вревским. Он производил впечатление очень культурного, с разносторонними знаниями, но делами мало интересующегося. Зато как раз он очень интересовался астрономией. При первой же нашей встрече Вревский стал развивать мне свою, довольно таки фантастическую, теорию о строении Солнца. Он как-то связывал солнечные пятна и геологические процессы. Мне казалось, — Вревский хотел бы, чтобы я развил его теорию научно. Я из вежливости что-то бормотал о возможности и такого взгляда.

По своей старости Вревский забывал, что он уже изложил мне свои воззрения, и при дальнейших встречах начинал их излагать заново. О них же он любил говорить часто приезжавшим в Туркестан иностранным путешественникам.

Когда Вревский встречал в популярных астрономических журналах, которые он почитывал, упоминание о моих работах, он это всегда подчеркивал и присылал мне. На моих же популярных астрономических лекциях он был едва ли не самым внимательным слушателем.

Народные чтения

В Ташкенте не существовало народных чтений. Я поднял вопрос об их устройстве, привлекая к этому делу несколько общественных деятелей. О них следовало бы сказать несколько слов, как о представителях местной интеллигенции.

В этот кружок я вовлек В. Ф. Ошанина, Н. С. Лыкошина, И. И. Гейера, Н. Н. Касьянова, С. А. Лидского и еще нескольких.

Василий Федорович Ошанин был директором женской гимназии. Маленького роста, с длинной, разделявшейся на две части русой бородой, в очках, сквозь которые его глаза казались особенно большими, В. Ф. как будто поставил жизненной задачей быть решительно со всеми в хороших отношениях. Это ему не удавалось без компромиссов и лавировки, но всё-таки решительно ото всех слышалось:

— Какой милый человек, этот Василий Федорович!

И по службе он старался никому не сделать неприятности; его поэтому любили и педагоги, и ученицы.

В ташкентском обществе он считался ученым — и не без основания. Он был энтомологом. Педагогическая деятельность не прерывала его научной работы. Много путешествовал по краю, хорошо знал Туркестан, часто ездил в научные экскурсии.

В. Ф. Ошанин

Специализировался он, как сам любил над собою шутить, по «клопам» (полужесткокрылым). У него была громадная коллекция этих насекомых, помещавшаяся во многих десятках коробок, которые он любил показывать, всегда сам остря над своей научной специальностью. По внешности

насекомые его коллекции, иногда очень крупные, весьма мало соответствовали житейскому представлению о клопах.



Всю свою ташкентскую жизнь Ошанин составлял каталог этих полужесткокрылых, но никак не мог собраться его издать. Я его неоднократно убеждал приступить к этому делу, но В. Ф. обладал некоторой вялостью к тому, что выходило за пределы повседневности. Его вялость проявлялась и по роли председателя местного отдела Московского общества любителей естествознания и антропологии. Члены этого отдела жаловались, что Ошанина годами нельзя было заставить созвать заседание общества.

Отслужив благополучно, что полагалось, и получив свою пенсию, В. Ф. переехал в Петербург. Здесь я застал его работающим в энтомологических кабинетах Академии наук.

— В мое командование, — смеялся он, — переданы все клопы академии!

Теперь-то он и смог опубликовать труд всей своей жизни — каталог полужесткокрылых, в изданиях Академии наук. Через несколько лет я прочитал в газетах об его смерти.

Нил Сергеевич Лыкошин, капитан артиллерии, был в ту пору полицеймейстером туземной части Ташкента.

Как-то странно вязалась полицейская должность с таким прямым, хорошим и честным человеком, умственные запросы которого сильно выделяли его из окружающей служебной среды. Это был более писатель и отчасти ученый этнограф, чем администратор.

Некоторые из книг Лыкошина были очень интересны, например, изданный им кодекс приличий по мусульманскому обычаю. В этом кодексе регулировалось, кажется, все: когда надо ходить в баню,



в какие дни надо любить жену и т. п. Были и весьма симпатичные правила, например, то, что старший всегда первый должен приветствовать младшего. Это толковалось широко: сидящий — старше стоящего, верховой старше пешего и пр.

Лыкошин держал себя с начальством не совсем так, как держат себя подчиненные, а с сознанием личного достоинства. Даже с генерал-губернатором он не вытягивался, по роли полицеймейстера, в струнку, а разговаривал как со всеми остальными. Вревского этот тон очень шокировал. Как человек воспитанный, он сдерживался и молчал, но при случае проявлял свое раздражение против Лыкошина. Однако

последний переделать себя не мог или не хотел.

Кончилось катастрофой. Н. С., которому при его большой семье, не всегда хватало жалованья, допустил нескромную неосторожность: взял под вексель деньги у одного богатого сарта. Это было, однако, запрещено. Вревскому об этом донесли, и он приказал немедленно отчислить Лыкошина от должности. Как раз перед этим у генерал-губернатора был бал, и Лыкошин, танцуя с мисс Хор, поскользнулся на слишком натертом паркете и упал, вместе со своей дамой.

В обществе сейчас же пошла легенда:

— Вревский за то отчислил Лыкошина, что он уронил мисс Хор...

Гнев Вревского все же удалось смягчить, и Н. С. был вновь назначен начальником уезда в Ходжент.

Лыкошин вообще отличался большой чистотой души и замечательной личной порядочностью. Сартское население его любило и уважало. Он прекрасно изучил местные языки и свободно объяснялся с подведомственным населением. Мне приходилось бывать у него в канцелярии, когда к нему являлись сарты по своим делам. Полное отсутствие помпы и величия, совершенно простой разговор. Сарты бывали разговором удовлетворены. И внешний вид Лыкошина подкупал: большая седеющая борода, спокойствие в словах и жестах — вид патриарха.

Как-то Н. С. повез нас в туземный город вечером — посмотреть на радение дервишей. Дервиши — род монахов.

Это были дервиши ордена Календар. Сокращенно их называли календари. В каждом почти городе есть своя календар-хана, помещение, где они собираются для исполнения своих обрядов. Самый же орден основан лет двести назад. Сегодня они исполняли свое радение, при котором календари приходят в экстаз.

Большое помещение было сплошь заполнено несколькими сотнями дервишей, сидевшими в глубоком молчании. Откуда-то, из невидимого нам помещения, слышался монотонный старческий голос, читавший что-то религиозное.

Потом голос внезапно смолк.

Вся толпа дервишей в темных халатах поднялась и сгрудилась в среднем помещении, где опустилась на пол, на овечьи кожи. В стороне, у стены, сидел старик, шейх, сменявший тихое чтение возгласами, за которыми следовали общая молитва и пение.

Шейх запел молитву, и вдруг вся масса сидящих начала раскачиваться со стороны в сторону, выкрикивая какое-то непонятое мною слово в такт стихам молитвы. Дервиши колебались взад и вперед, прикладывая руку то к лицу, то к сердцу, то к бороде, то к коленам. Раздельные выкрики сливались в односложный, повторяемый все чаще и чаще, и дервиши ускоряли свои колебания тела. Вдруг один дервиш вскочил, жалостно вопя, и затанцевал на месте.

Пример оказался заразительным. Еще несколько дервишей с воплями затанцевали. На всех лицах струился пот. Дервиши вставали, опускались, снова вскакивали, дико ревя свой мистический выкрик... Качались, тряслись, падали... Руки проделывали в воздухе странные движения... Иные уже лежали без движения, точно трупы.

Постепенно все слилось в один непрерывный и страшный рев. Наступил полный массовый экстаз. Дервиши с трудом вскакивали, тараща глаза, качались, плясали, вопили и снова падали, точно бездыханные на землю... Не стало мочи смотреть!

Положительные качества Лыкошина слишком говорили за него, и он, подвигаясь по службе, под конец стал самаркандским военным губернатором. После нескольких лет здесь его застали революция и большевизм.

Его посадили в том же Самарканде в тюрьму. Мне рассказывали, что он подавал всем арестантам пример величия духа, кротости и смирения, ни на что, не жалуясь и в первую среди арестантов очередь выполняя самые грязные тюремные работы.

Затем его освободили, так как его не в чем было обвинить, кроме того, что он был губернатором. Вместе с другими лицами, служившими в администрации, его выслали впоследствии из края, в Самару. Слышал я, будто он, всегда болевший глазами, здесь совсем ослеп, а через некоторое время Лыкошин здесь же и умер.

Приехал ко мне на обсерваторию старик, с большой белой бородой. На плечи накинуто пальто военного чиновника, с красной подкладкой.

— Генерал Касьянов! — предупредил меня Юнус.

Вошел слегка сутулый, но еще бодрый старик, с живыми, хотя и покрасневшими, глазами. На груди — университетский значок.

— Приехал я к вам — посмотреть и посравнить век нынешний и век минувший. Когда-то, в Казанском университете, я тоже занимался астрономией.

Постепенно мы с ним сошлись и стали хорошими друзьями.

Интересная это была ташкентская фигура. В прошлом, по окончании университета, он, по игре случая, стал интендантским чиновником. Служа в Туркестане, он был, в эпоху Кауфмана, интендантом в известном хивинском походе, сделанном через море песков; это было в 1873 году.

Дослужившись до генеральского чина в интендантстве, Касьянов вышел в отставку... столь же бедным, каким и поступил на службу. Жил он только на пенсию. В интендантском мире это было явлением совершенно исключительным. Правда, у него был за городом довольно крупный участок, в несколько десятин, к которому вела из города изломанная улица, названная в его честь Касьяновской. Но в героические времена Туркестана земля стоила такую безделицу, что все, кажется, чиновники старого времени стали крупными землевладельцами. Русский Ташкент создавался на пустыре, и трудно было предугадать его будущее развитие.

Своей пенсией и доходами от садоводства и цветоводства — он был большим любителем цветов — существовал весьма скромно старик Касьянов со своей маленькой семьей.

Несмотря на свой возраст и долгую службу в военном ведомстве, Николай Николаевич Касьянов ни в какой мере не утратил молодости души. Это был вечно бурлящий и всегда готовый на «волнения» студент. Старости для него как будто не существовало. Он стал одним из энергичных участников в устройстве народных чтений. Ездил, суетился, сам постоянно читал, рискуя проглотить свои искусственные зубы... В местном обществе он считался *enfant terrible*.

Особенно бурлил и кипел он в городской думе, которая, благодаря «безгласным» гласным-сартам, не осмеливавшимся возражать председательствующему в думе начальнику города, шла на поводу у этого последнего. Положение в думе стало особенно ненормальным после Андиганского восстания, о котором речь впереди; новый начальник города, он же председатель в думе, железной рукой устранял всякое свободомыслие в сартах, в том числе и по городским делам. Одна треть гласных была сарты, которые являлись в думу в полном числе, как на службу. Русские же манкировали посещениями. При таких условиях председатель проводил в думе, с помощью терроризированных сартов, все что хотел. Касьянов же стал лидером думской оппозиции.

Он кричал на заседании председателю:

— Вы не имеете права самовольно распоряжаться в думе! Вы — председатель, а не начальство. Нельзя это смешивать!

Председатель, подполковник Ладыженский, выходил из себя:

— Гласный Касьянов, лишаю вас слова!

— Не имеете права! Сначала вы должны сделать три предупреждения.

— В таком случае делаю вам первое, второе и третье предупреждения и лишаю слова!

Старик приезжает из думы ко мне, делится своим горем.

— Почему вы не пожалуетесь губернатору?

— Бесполезно. Это все одна шайка!

Имени Касьянова администрация под конец действительно не выносила.

Милый, честный старик! Я оставил его в Ташкенте в 1904 году стариком уже за семьдесят. Больше о нем ничего не слышал.

Иван Иванович Гейер не был близок никому из нашего кружка устроителей народных чтений. О нем говорилось иногда хорошо, чаще плохо. Симпатиями он не пользовался, но ценили его разносторонние способности.

Отрицательное было в его прошлом. Студент-естественник Харьковского университета, он — дальнейшее я передаю не по бесспорным данным, а на основании ташкентской молвы — участвовал в партии социалистов-революционеров. Попался, был арестован, привлечен к ответственности, но отделался благополучно, — лишь ссылкой на жительство в Туркестан. Молва утверждала, что он отделался так дешево благодаря преданию им товарищей, и будто бы в печатном издании эсеров его имя фигурировало в числе предателей.

С виду болезненный, бледный, он чувствовал себя в Туркестане хорошо, а благодаря своему природному уму недурно устроился. Именно, несмотря на ссылку, он перешел на службу в администрацию и приобрел в Сыр-Дарьинской области немалое влияние, ставши чиновником особых поручений при военном губернаторе.

На этом посту был в то время генерал Корольков. Губернатор и по виду напоминал королек: небольшого роста, толстенький, красный... Корольков был ленив и свою энергию тратил, во-первых, на разведение роз, а затем — на ухаживание. У него на казенной даче был роскошный розарий, в несколько сот сортов роз. Этот розарий заполнял, кажется, все мысли Королькова, и к области у него было меньше интереса, тем более, что управление мирным сартским населением большого труда не составляло.

Все же время от времени перед губернатором вставали трудные вопросы, в разрешении которых для него бывала очень кстати помощь Гейера. В Ташкенте прочно укоренилась шутка:

— Что такое собственно представляет собою Гейер?

— Это — ум Королькова!

Действительно, при его помощи многого можно было достичь у губернатора, и это было общеизвестно.

И. И. Гейер обладал болезненным честолюбием: хотел во всем быть первой скрипкой. Пользуясь своим влиянием в городе, он часто этого достигал. Правда, он был на все руки: журналист, лектор-популяризатор по химии, разносторонний административный деятель, изготовитель фотографических пластинок и многое другое. Не затеивалось в Ташкенте ни одного начинания, к которому не оказался бы причастен, в качестве видного деятеля, Гейер. О нем говорили:

— И швец, и жнец, и в дуду игрец.

При частом личном общении я удивлялся тому утрированному либерализму, который проявлял в словах Гейер при всяком удобном и неудобном случае. Это казалось странным и ввиду его служебного положения, и ввиду того, что все это сходило ему безнаказанно.

Мы должны были привлечь Гейера к участию в организации народных чтений, как ввиду его личной деловитости, так и в виду его влияния на губернатора.

Заседания по организации чтений происходили у меня. Все формальности, по тем временам сложные, были, наконец, завершены, и мы получили право начать свою деятельность.

Остановкою оказалось отсутствие средств на выписку книжек и иллюстрационного материала. Мы решили прибегнуть к известному приему: «boule de neige»^[319]. Каждый из нас должен был написать трем знакомым письма с просьбою пожертвовать на это дело 20 копеек и написать три таких же письма трем своим знакомым и т. д. Мы знали, что такой порядок сбора вообще не разрешается, но рассудили, что, так как все мы являемся лицами прекрасно известными властям, так наш сбор не вызовет подозрений.

Кажется, я был первым, который начал рассылку писем; другие предпочли не спешить: как, мол, к этому отнесутся?

Письма стали все же распространяться, и это вызвало кое-где неблагоприятные разговоры. В частности, остался недоволен Корольков, которого мы считали предупрежденным Гейером. Корольков поехал с жалобой на нас к барону Вревскому и взвинтил также и его. Вызвали к генерал-губернатору старшего из нас по служебному положению В. Ф. Ошанина, и Вревский объявил ему о своем решении:

— За рассылку недозволенных писем открытие деятельности комиссии народных чтений запрещается до истечения одного года.

И. И. Гейер, также принявший на себя обязанности рассылать эти письма, позже мне говорил:

— Эге! Чтобы я — да стал посылать такие письма... Я слишком травленный заяц!

Через год деятельность наша восстановилась под названием: «Пушкинское общество народных чтений». В. Ф. Ошанин и еще кое-кто из более робких отошли от дела, вызвавшего однажды неудовольствие генерал-губернатора. Председателем Пушкинского общества мы избрали управляющего казенной палатою А. И. Николаенко.

Общество расцвело и расширилось, но Николаенко в нем оставался больше в роли иконы, а главную роль взял на себя Гейер.

А. И. Николаенко

Аркадий Иванович Николаенко заслуживает, пожалуй, более детального о себе воспоминания. Он остался для меня, несмотря на многолетнее и близкое знакомство, скрытым за вопросительным знаком.

Еще довольно молодой тогда человек, он пользовался несомненной любовью подчиненных и общим уважением в ташкентском обществе.

Супруги Николаенко вели в Ташкенте удивительный образ жизни: ни с кем из местного общества не поддерживали знакомства домами, ограничиваясь только обменом визитами. Точно забаррикадировались от всех, и единственные, кто у них бывал, как близкие люди, это младший сослуживец В. Ф. Островский с женой. Другим эта изоляция объяснялась тем, будто Лидия Николаевна Николаенко — большая домоседка.

Позже я близко познакомился с Л. Н. Николаенко: развитая, образованная женщина, не чуждая некоторой эксцентричности и с большой дозой эгоизма.

Все же это как-то удивляло: Николаенко всем симпатичен, все его хвалят, а около него — аравийская пустыня.

В общественной жизни А. И. проявлял крайнюю чиновничью осторожность. Старался ни в чем не проявить своего лица, и, когда в его присутствии что-либо порицали или чем-либо возмущались, он мило улыбался, издавая неопределенные звуки, которые каждый мог понимать, как ему угодно.

Через несколько лет А. И. получил перевод с повышением в Петербург. Его очень тепло проводили из Ташкента.

Еще некоторое время спустя и мне пришлось жить в Петербурге. Здесь я довольно близко сошелся с Николаенко и стал на дружеских правах бывать у них в доме. И опять меня поражала та же аравийская пустыня около их семьи. В течение долгого времени я был единственным посетителем их дома, если не считать изредка приезжавшего из Москвы все того же В. Ф. Островского.

Николаенко тем временем продвигался в своей карьере и стал директором департамента. А затем как-то внезапно вышел по болезни в отставку.

Через некоторое время я снова попал в Петербург. Николаенко я застал совсем одиноким. Он жаловался:

— Мы теперь совсем заброшены! Никто о нас и не помнит.

А Л. Н. прибавляла:

— С тех пор, как Аркадий Иванович потерял свое служебное значение, с нами никто не считается!

Жили они довольно скромно, и опять я что-то не помню, чтобы у них кто-либо бывал, кроме ближайших родственников.

Так продолжалось еще несколько лет. Я служил в Твери, в государственном банке, часто приезжал в Петербург и всегда бывал в этой семье — на правах близкого друга. А. И. говорил, что уже избавился от своей болезни и хотел бы вернуться на службу.

— Разумеется, с повышением, — прибавляла его жена.

Приезжаю я как-то в Петербург и из утренних газет узнаю, что А. И. только что назначен товарищем министра финансов. Естественно, что я тотчас же поздравил его по телефону, и мы сговорились о дне моего ближайшего посещения.

В назначенное им время я приезжаю.

— Никого нет дома! — говорит горничная.

Меня это поразило.

— Вам ничего не поручили мне передать? Не оставляли ли, быть может, записки?

— Нет, ничего!

— Хорошо! Кланяйтесь и скажите, что был такой-то.

Мне все-таки не верилось, чтобы только из-за того, что он стал товарищем министра в ведомстве, в котором я занимаю значительно более скромное место, можно было бы так резко оборвать двадцатилетнюю дружбу. Два дня поэтому я ждал от Николаенко объяснительной записки или хотя бы звонка по телефону. Ничего! Тогда, чтобы не порвать двадцатилетней дружбы из-за недоразумения, я ему написал: я приехал по его же приглашению, но вышло что-то для меня непонятное. Так как недоразумение остается не разъясненным, то я прошу ответить, в чем собственно дело? Если же это было сделано умышленно или если я вообще не получу от него ответа, то я постараюсь, чтобы он никогда не имел повода даже вспомнить о моем существовании.

Никакого ответа не последовало.

Общие знакомые предлагали мне свое посредничество, чтобы разъяснить это загадочное недоразумение. Я от этого решительно отказался. С Николаенко мы более никогда не встречались.

По службе он, однако, преуспевал. В самую мрачную эпоху Распутинщины, после ухода министра финансов Барка, он стал управлять Министерством финансов. Он, очевидно, завоевал симпатию Николая II. На этом посту его захватила революция 1917 года. Как пользовавшийся симпатиями, он и при революции и общих арестах министров не подвергся преследованиям. А через несколько месяцев, еще до наступления большевизма, он умер.

Железная дорога

При управлении Туркестаном Вревского произошло памятное для Ташкента событие: стали строить железную дорогу из Самарканда в Ташкент. Кончился период сообщения — для привилегированных — на почтовых тройках, для остальных — на сартских арбах, для транспорта же — на верблюдах.

Закладка Ташкентского вокзала... Строитель дороги — инженер А. И. Урсати. Громадный мужчина, точно медведь, властный и энергичный. Денег тогда не жалели, откуда только брали их столько? Торжество было исключительное, гомерическое. Закладка, торжественное молебствие, на

территории будущего вокзала раскинута шатры, лукулловское угощение, речи, речи, подогреваемые потоками шампанского...

Выступает старый туркестанец:

— Никогда в жизни я не видел железной дороги! Думал, так и умру. А вот, смотрите. Дождлся! Перед самой смертью... Но все же не я к ней пришел, а она, голубушка, ко мне пожаловала!

Праздничное настроение целого русского Ташкента — а дело было летом — продолжалось весь день. Вечером в военном собрании бал. А после на столах, накрытых в саду, — устроенный железнодорожниками ужин. Такого роскошного ужина я за всю свою долгую и разнообразную жизнь более не видел. Свежую икру ели чуть ли не из глубоких тарелок. А шампанское уже буквально пили столовыми стаканами, — с бокалами не стоило и возиться.

Граф Н. Я. Ростовцев

Заменять барона Вревского, уехавшего на несколько месяцев в Россию, назначен был самаркандский военный губернатор граф Николай Яковлевич Ростовцев.

Он был сыном известного деятеля по освобождению крестьян Якова Ростовцева. Сам Николай Яковлевич, высокий старик, с окладистой седой бородой, производил чарующее впечатление. Все, что о нем приходилось слышать, а отчасти и самому видеть, свидетельствовало о том, что Н. Я. вкладывал душу в каждое дело, каким ему приходилось заниматься. На военной службе — помнится, что в последнее время он командовал в Одессе знаменитой «железной» 4-й стрелковой бригадой, — Ростовцев был сочтен слишком либеральным. Его перевели в глушь по администрации. Это не было ни в какой мере карьерой для сына такого известного отца, с громадными, следовательно, связями.

Назначенный самаркандским губернатором, Н. Я. немедленно изучил сартский язык. И был случай, когда, выслушивая по какому-то серьезному делу, через официального переводчика, просителя сарта, Ростовцев обнаружил, что переводчик умышленно переводит ему не то, о чем говорит жалобщик.

— Если бы, — рассказывал Н. Я., — во всем остальном мне сартский язык более не понадобился, то и этого случая было бы достаточно, чтобы мне не пожалеть о затраченном труде на его изучение!

Таким же добросовестным было и все его управление. В Ташкенте некоторым лицам, избалованным мягкостью режима Вревского, это мало нравилось, но Ростовцев говорил:

— Я хорошо знаю, что я — калиф на час. Однако в этот час прошу относиться ко мне как к калифу!

Мне приходилось не раз беседовать с Н. Я., который обнаруживал и свою большую разностороннюю начитанность и научное образование, в частности — и по астрономии. Для меня

составило удовольствие, показывая небо в телескоп, дать возможность увидеть ему то, о чем он лишь читал.



Н. Я. Ростовцев

Вместе с Н. Я. жили в Ташкенте два его сына. Старший, Яков Николаевич, был тогда сравнительно скромным чиновником Министерства земледелия. Суховатый человек и, как казалось, себе на уме, не в отца; больших симпатий он к себе не возбуждал. Другой сын, Михаил Николаевич, капитан лейб-егерского полка, был, наоборот, необычайно симпатичен. Чувствовалась какая-то особенная мягкость и чуткость — деликатнейшая натура.

Оба они бывали у нас в доме. Я. Н. казался занятым по преимуществу интересами своей карьеры. И, действительно, прошло всего каких-нибудь два года, как он сделал, по своим обстоятельствам, головокружительную карьеру: из скромного министерского чиновника стал секретарем императрицы Александры Федоровны и заведующим делами детей императора. Он сумел сохранить эту, весьма трудную по придворным условиям, должность до самого крушения царизма.

Я навестил позже братьев Ростовцевых в Петербурге. Я. Н. как раз оказался на верху своих карьеристических достижений, и тон его уже стал снисходительно любезным. М. Н. это как-то сразу уловил и деликатной любезностью смягчал тон брата.

Некоторое время спустя в газетах появилось извещение офицеров полка о том, что их любимый товарищ граф М. Н. Ростовцев покончил самоубийством.

Разграничение на Памирах

В 1895 году было назначено разграничение на Памирах. Оно происходило между Россией и Афганистаном, но второй стороной явился не сам Афганистан, а вызвавшаяся представлять его интересы Англия. Комиссарами в разграничительную комиссию были назначены: с русской стороны ферганский военный губернатор генерал Повало-Швейковский, с англо-афганской генерал Джерард.

В русскую комиссию был также командирован, как представитель Министерства иностранных дел, бывший до того генеральным консулом в Багдаде Петр Егорович Панафидин. Семья Панафидиных жила в соседнем с нами доме, и наши жены стали друзьями. Эмма Иосифовна Панафидина, американка по происхождению, была исключительно милой женщиной, всегда жившей интересами своих двух сыновей — Алика и Джорджи. Много лет спустя, уже во время большевизма, после смерти мужа, она бежала туманной ночью со взрослыми уже сыновьями на лодке из Петрограда в Финляндию, а затем счастливо добралась и до Америки.

В Ташкенте Э. И. делилась с нами сведениями, получаемыми от мужа о ходе работ разграничительной комиссии. Работа затянулась на несколько месяцев. Панафидин часто выражал удивление, разделяемое всей русской комиссией, в том, какого простака прислали англичане в лице Джерарда. Протоколов англичане сами не составляют, а просто берут для переписки составленные русскими, сам Джерард по-русски не понимает и т. п. Казалось, что работы комиссии проходят в весьма выгодных для русских интересах условиях... Увы, это оказалось впоследствии далеко не так; англичане тонко провели русских, и в Министерстве иностранных дел работами комиссии отнюдь не остались довольны.

Работы закончены, и Джерард попросил позволения возвратиться домой через Россию; ему это любезно разрешено.

Джерард считался гостем генерал-губернатора и провел в Ташкенте несколько дней. Граф Н. Я. Ростовцев устроил в его честь обед, на который были приглашены представители из разных ведомств. Потом оказалось, что были приглашены лица, могущие помочь развлечь гостя. Ростовцев искусно заговорил о нашей обсерватории, и вышло так, что я увидел себя вынужденным пригласить всю компанию, прямо после обеда, поехать смотреть небо в телескоп.

Я по-английски не говорил, и мои объяснения переводил гостю Я. Н. Ростовцев, прибывший с нами.

На другой день Н. С. Лыкошин повез Джерарда показывать ему сартский Ташкент. Но вышло недоразумение: молодой Ростовцев, служивший переводчиком, не приехал. Лыкошин сокрушается, как же ему быть. И вдруг слышит:

— Не беспокойтесь, я понимаю по-русски!

Удивительно, как это Джерард вдруг проговорился, выдав свою хитрую политику. Хороша оказалась роль членов нашей разграничительной комиссии.

Великий князь Николай Константинович

Яркая туркестанская фигура того времени. Николай Константинович был братом поэта К. Р. В Петербурге он увлекся красавицей-американкой и под влиянием своего увлечения стащил у матери, великой княгини Александры Иосифовны, ожерелье.

Виновника кражи легко обнаружили. Надо было, однако, по возможности смягчить скандал в царской семье. Американку выслали из России, а великого князя признали ненормальным. Его сослали на жительство в Туркестан, под надзор генерал-губернатора.

Князь был высокий и видный мужчина. Голова, начисто выбритая, производила несколько странное впечатление, но лицо было явно породистое, с правильными чертами романовского типа.

Великий князь женился на дочери оренбургского полицеймейстера Надежде Александровне Дрейер. Долгое время его жена официально называлась «состоящей при великом князе».

Впоследствии она побывала в Петербурге и произвела в семье своего мужа выгодное для себя впечатление. Тогда ей высочайше пожалован был титул Искандер, излюбленное великим князем прозвище в Азии Александра Македонского. Этот же титул или фамилию получили и ее дети от великого князя.

Н. А. была красивой женщиной; тогда, впрочем, она уже стала блекнуть. Хороший характер, много такту и терпения, и большая живость, которую Н. А. не утратила, даже несмотря на весьма тяжелую свою жизнь.

Для туркестанской власти надзор за великим князем был делом нелегким и весьма щекотливым. Надо было все время оглядываться на его родственные связи.

Н. К., особенно в первые годы своей ссылки, злоупотреблял своей мнимой ненормальностью и постоянно выделывал разные трюки.

Он являлся, например, в собор на торжественные богослужения в царские дни, когда все были в мундирах и орденах, демонстративно в простом домашнем пиджаке. Его попросили одеваться иначе, — князь вовсе перестал бывать на молебствиях.

В его дворце был поставлен металлический бюст сославшего его Александра III, в то время еще царствовавшего. В присутствии посторонних Н. К. подходил к бюсту, щелкал императора по лбу и, когда раздавался металлический звук, обращался к присутствующим:

— Слышите, господа, как гудит? Это потому, что в голове царя — пусто!

Своим излюбленным героем он избрал почему-то Павла I. Культ этого императора выявлялся в его дворце повсюду. По-видимому, это было лишь деланное оригинальничание.

Под конец ему предложили выселиться из Ташкента в более глухие места.

Николай Константинович поселился тогда в Голодной степи, вблизи нескольких русских поселков, устройству которых он отчасти и содействовал.

Здесь он повел жизнь настоящего азиатского хана. Этому содействовали и его относительно большие средства: ему ассигновывалось по 12 000 рублей в месяц, сумма, по условиям времени и места, очень большая. С русскими поселенцами он держал себя, как типичный помещик-крепостник: выбирал себе из женщин наложниц и т. п.

Завел у себя орду конвойных, и с этой оравой, одетый и сам в сартский костюм, носился в степи, расправляясь нагайками, с кем находил это нужным. Жалоб, впрочем, бывало мало: многое заглаживалось впоследствии денежными подачками.

Рассказывали о случае, бывшем еще до нашего приезда, с состоявшим при нем доктором. Приревновав его к Надежде Александровне, великий князь схватил обоих за воротники и стал бить лицами друг о друга: целуйтесь, мол!

Он велел доктора закопать на ночь в Голодной степи: над землей оставалась только одна докторская голова. Утром доктора откопали, но он за ночь сошел с ума; его прямо отвезли в дом умалишенных.

При великом князе тогда состоял, фактически — в роли гувернера, обязанный его опекать и предостерегать от безумных поступков и расточительности, а также благополучно ликвидировать последствия его выходов, — казачий полковник Дубровин. Задача эта была ответственная, щекотливая и неблагодарная, но хорошо оплачиваемая. Дубровин всегда ходил вооруженный револьвером, и великий князь все же его побаивался.

Хуже бывало положение чиновников, обязанных непосредственно иметь дело с великим князем. Мне рассказывал как-то И. И. Гейер:

— Командировал меня к великому князю мой губернатор. Приезжаю. Зовут в кабинет. Князь сидит за письменным столом. «В чем дело?» — «Так и так, ваше высочество...»

Передаю поручение губернатора. Вдруг лицо великого князя перекошилось. Вскрикивает с кресла: «Что-о-о!! Вот я вам, с губернатором, покажу!»

Хватает палку, бросается на меня. Я скачу за письменный стол... Он за мной. Кричит... Стали мы так бегать вокруг стола. Вижу — дело плохо... Исколотит!

Выскакиваю в открытое окно, бросаюсь за постройки.

Он кричит в окно: «Держи! Держи его!!»

Проходит камердинер князя: «В камыши скорее спрячьтесь!»

Князь его в окно спрашивает: «Где спрятался чиновник?» — «В степь убежал!»

Я бросился в камыши. Залез в самую гущу. Только бы собак не послали...

Со двора выезжает погоня — орда верховых с нагайками.

«Поймать и привести ко мне!»

Я просидел в камышах, пока совсем не стемнело. Ночью выбрался, дошел до ближайшего поселка, нанял лошадей в Ташкент.

Говорю губернатору: «Как хотите, ваше превосходительство, а я больше к нему не поеду!»

Приехала другой раз к великому князю комиссия инженеров. Князь остался ими доволен — всем подарил по серебряному портсигару.

Начался ужин. Великий князь быстро напился. Что-то ему вдруг не понравилось. Кричит лакею: — Отберите у всех них мои портсигары!

Портсигары были возвращены.

Искушенные опытом люди поступали иначе. Приехал к великому князю областной архитектор Есаков, также командированный губернатором. Что-то князя рассердило. Схватил палку, бросился на архитектора.



Есаков быстро выхватил револьвер и направил на великого князя. Тот сразу успокоился, сел на свое место и мирно продолжал деловую беседу.

Горько жаловался на Николая Константиновича наш друг В. С. Гейнцельман, бывший чиновником для технических поручений при генерал-губернаторе, человек немецкой аккуратности и исключительной добросовестности. Получает он приказание от барона Вревского:

— Ассигнованы средства на постройку для великого князя дворца в Голодной степи. Съездите к его высочеству, узнайте его желания, а составленный на основании них проект представьте мне на утверждение.

Гейнцельман приезжает:

— Что угодно построить вашему высочеству?

— Гмм... Постройте мне дворец в стиле царя Алексея Михайловича!

Гейнцельман с головою уходит в работу: изучает по историческим памятникам стиль, чертит, рисует... Через три месяца привозит готовый проект князю.

— Что это у вас?

— Как вы пожелали, ваше высочество. Дворец в стиле царя Алексея Михайловича!

— Я передумал... Нет, и смотреть не хочу. Вы мне спроектируйте *château d'eau*!

Огорченный пропавшей зря работою немец снова добросовестно трудится несколько месяцев и привозит новый проект.

Великий князь и смотреть не хочет. Он опять передумал. Требуется переделки в мавританском стиле.

Только когда он отказался и этот проект посмотреть, а дал новые указания, стало ясно, что он просто издевается. От постройки дворца в Голодной степи отказались.

Еще раньше тот же Гейнцельман выстроил князю дворец в Ташкенте, который впоследствии был захвачен, вместе со всем имуществом, большевиками и обращен в музей. В этом дворце действительно было много музейных вещей, картин и пр. Между картинами, принадлежавшими великому князю, мне в свое время показывали и портрет пресловутой американки, сбившей великого князя с его пути.

Но сам Н. К. жил не в больших светлых комнатах, а предпочитал верхние полумансардные комнаты, предназначенные собственно для прислуги; там же должна была жить и Надежда Александровна.

Николай Константинович ни в какой мере не считал себя связанным браком с Надеждой Александровной. Говорили, что у него в поселке была особая фаворитка — какая-то казачка; но он не стеснялся и временными связями.

Молва обвиняла его в худшем — в азиатской любви к мальчишкам. Можно бывало видеть и на ташкентских улицах, проезжавших в коляске великого князя с женой, а на скамеечке сидит

разряженный в пестрый халат восьми-десятилетний сартенок... Делалось все это князем открыто, никого не стесняясь.

Надежда Александровна переносила это молча, делая приятную улыбку. Справедливо, впрочем, указать, что — по крайней мере, в последнее время — великий князь мало стеснял и жену.

Верховые стражники — сарты скачут по русским поселкам. Разыскивают сельских попиков:

— Скорее прячьтесь! Великий князь едет!

— Но... почему?

— Скорее! Заставят вас венчать его, или исколотят нагайками.

Великий князь завел роман с гимназисткой Хмелевской, хорошенькой девчонкой. Но она сама, или этого требовала ее мать, не сдавалась князю, а потребовала венчания в церкви. Великий князь перед этим нисколько не остановился.

В Ташкенте не нашлось священника, который бы рискнул обвенчать их при живой и не разведенной жене. Заставить же себя обвенчать насилием здесь не было возможно.

Великий князь с невестой, в сопровождении своей орды конвойных, поехал по уезду, чтобы принудить какого-нибудь несчастного попика силою обвенчать себя. Но его план стал известен администрации. Предупрежденные гонцами батюшки попрятались — кто в стог сена, кто на чердак...

Николай II вышел из себя, получив от генерал-губернатора донесение о происшедшем. Эта выходка князя переполнила чашу. Царь приказал послать в Ташкент комиссию для освидетельствования умственных способностей Николая Константиновича.

Комиссию составили два психиатра, а возглавил ее известный тогда престарелый адмирал Казнаков. После экспертизы психиатры признали, что хотя великий князь и не вполне нормален, однако не настолько, чтобы не отвечать за свои поступки.

Казнаков рассказывал, что можно еще удивляться относительной нравственности князя. В его делах нашли ряд писем ташкентских матерей, которые, прилагая фотографические карточки своих дочерей, предлагали этих последних князю за вознаграждение в 5–15 тысяч рублей. Быть может, им импонировала и его принадлежность к царскому роду...

Хмелевская с матерью были высланы в Баку. Но невеста, переодевшись мальчиком, бежала к великому князю в Ташкент. Ее, однако, арестовали на железной дороге и вернули назад.

Эта история не прошла для великого князя безнаказанно. Воздух Ташкента был признан для него вредным. Его сослали — сначала на остров Эзель. Почему-то он здесь не прижился, и его переселили в Балаклаву.

Однако, через некоторое время, Николая Константиновича простили и, уступая его просьбам, разрешили возвратиться в Ташкент.

Была за Николаем Константиновичем и общественная заслуга. Он использовал между прочим свое пребывание в Голодной степи и для того, чтобы посильно обращать этот бесплодный и мертвый

край в орошаемый оазис. Стал проводить в степи оросительные каналы, расходуя на это дело отпускавшиеся в его распоряжение средства.

Сначала дело велось кустарным способом, и большого толка из его оросительных работ не выходило. На них и смотрели, как на его забаву: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы поменьше скандалило!»

Потом князя надоумили привлечь техников с нивелирами. Дело сразу пошло успешно. Через несколько лет его оросительные сооружения представляли уже весьма полезное дело. Благодаря магистральному арыку в степи стало возможным жить, и здесь начали возникать русские поселки.

Впоследствии оросительное дело повелось здесь широко и на государственный счет, но его инициатором все же был именно Николай Константинович.

Позже, особенно по возвращении из Балаклавы, великий князь стал держать себя скромнее. Да и годы начали сказываться, он стал угомоняться.

В качестве «гувернера» при нем состоял в последнее время наш друг генерал Д. В. Белов. Он рассказывал, что никогда прямо не противоречит великому князю, но так подстраивает обстоятельства, что исполнение нежелательной «воли его высочества» становится по внешним причинам невозможным. Например, разбуженный как-то утром проезжавшими телегами, князь приказывает:

— Закрывать эту улицу для езды. Завтра — же!

— Слушаю!

Белов идет к начальнику города и уговаривается с ним... Рано утром являются рабочие и разрывают часть мостовой «для ремонта».

— Дмитрий Васильевич, закрыта ли, как я приказал, улица?

— Пока еще нет, ваше высочество. Но на ней как раз производится ремонт, и езды нет!

А через несколько дней великий князь уже и сам забыл о своей блажи.

Там же, в Ташкенте, Николай Константинович через несколько лет и умер.

Приехавши, много лет спустя, в 1921 году в Ташкент, я навестил Надежду Александровну. Дворец был у нее отобран большевиками, но Н. А. своим тактом и приветливостью сумела не вооружить против себя и эту власть.

Ей даже разрешили занимать в полуподвальном этаже дворца, где раньше жила их прислуга, две комнаты. Здесь я и застал ее, окруженную десятком породистых собак:

— Это собаки великого князя!

Постаревшая и расплывшаяся, она все же держала себя бодро и весело. Не проявила никакой горечи при воспоминаниях. Без злобы, а больше с юмором, говорила о притеснениях, которым подвергает ее новая власть. Заботилась о сохранении дворца от разграбления, и именно она подсказала мысль об обращении его в музей.

Не надеялась ли она на лучшие времена?

Дело Сморгунера

К окружному суду — одноэтажному дому на тихой улице, потонувшему в зелени, быстро подъезжает коляска. Пара вороных совсем взмылена, точно в снегу.

Выскакивает пожилой офицер, в синем казачьем мундире, с полковничьими погонами.

— Сторож!!

— Здесь, ваше высокоблагородие!

— Присяжный поверенный Сморгунер здесь?

— Так точно!

— Вызови его ко мне!

Пока сторож ищет Сморгунера, казачий полковник нервно шагает по приемной. Старушка в темном полинявшем платье и толстый пожилой сарт, ожидающие по своим делам, с недоумением следят за его возбужденностью.

Входит высокий рыжеволосый мужчина. Останавливается в недоумении:

— Это вы меня вызывали?

— Да, я!

— Что же вам угодно?

— А вот что!

Бац! Бац! Бац!

Сморгунер сваливается, убитый наповал. На выстрелы сбегаются служащие, публика... Кто-то кричит:

— Городовой!

Вбегает дежуривший у суда полицейский.

— Городовой, я убил присяжного поверенного Сморгунера!

— Ваше высокоблагородие, дозволейте вас арестовать...

— Не имеете права! Я — командир полка. Арестовывать меня можно только по высочайшему повелению!

Полковник садится в коляску, едет домой. Оттуда посылает рапорт начальству о происшедшем и садится под домашний арест.

Сморгунер, крещеный еврей, считался в Ташкенте самым выдающимся адвокатом. Имел громадную практику и жил широко. Он позволял себе даже такую роскошь, как издание и редактирование единственной тогда в крае частной газеты «Русский Туркестан», приносившей ему несомненный убыток. Сморгунер увлекался также и спортом, и был в Ташкенте секретарем местного скакового общества...

На этой последней почве у него вышло столкновение с командиром 5-го оренбургского казачьего полка Сташевским, возглавлявшим, в качестве председателя, скаковое общество.

Дошло до серьезного конфликта. Во время резкого объяснения Сташевский поднял руку, чтобы ударить Сморгунера. Но Сморгунер заслонился вовремя поднятым стулом. Сташевский вышел из комнаты.

Слух об этом столкновении быстро, конечно, распространился по Ташкенту. Как всегда, бывает, молва сильно преувеличила происшедшее. Болтали даже кое-где, будто Сморгунер ударил стулом Сташевского.

Слух этот кто-то передал Сташевскому. Он потерял голову, поскакал разыскивать по городу Сморгунера и, узнав, что он в суде, прискакал сюда.

Преступление сильно взволновало ташкентское общество. Повсюду выражалось негодование против Сташевского. Возмущалась и военная среда.

Вдруг разнесся лозунг, исходящий от военного начальства: понимать поступок полковника Сташевского как защиту им чести военного мундира...

Для военных стало небезопасным осуждать Сташевского. Среди карьеристов началось поддакивание:

— Да, да! Честь мундира! Ну, конечно, иначе Сташевский и не мог поступить.

На панихидах, в доме Сморгунера, толпилось много народа. В первый день здесь были и военные сюртуки. Потом их точно метлой вымело. Ни одного! Перестали бывать и более осторожные из гражданских чиновников:

— Все-таки край военного управления...

На третий день — похороны. Собралась громадная процессия. Участвовал в ней и я — и вследствие возмущения происшедшей расправой, и в качестве сотрудника газеты «Русский Туркестан», в которой время от времени я печатал научно-популярные фельетоны.

Сотрудники газеты по очереди несли гроб.

Процессия двигалась на кладбище по Кауфманскому проспекту. Должны были как раз проходить мимо квартиры Сташевского, где он сидел под домашним арестом.

Кто-то предложил устроить маленькую демонстрацию: остановить процессию перед окнами убийцы. Мысль была принята несущими.

При прохождении мимо дома Сташевского в передовой паре несли гроб старик Н. Н. Касьянов и я — оба молодые душой. Поравнялись с окнами и... остановились.

Смятение и недоумение. Но через несколько секунд процессия уже двигалась дальше.

Как реагировал на эту демонстрацию Сташевский, слухи были разноречивые. Одни утверждали, что он расхохотался, другие, — будто он вскочил и хотел стрелять в процессию. Вероятно, и одно, и другое — вздор. Но не веревочные же у него были нервы, и безразлично к такой демонстрации отнестись он не мог.

Через два-три дня мне пришлось объясняться с начальником окружного штаба:

— Ведь вопрос об убийстве Сморгунера понимается как защита им чести военного мундира, значит, — чести всего военного ведомства. Как же вы, состоя в этом самом ведомстве, демонстрировали своим участием в похоронах против него?

— Я, ваше превосходительство, участвовал в похоронах не как военный служащий, желающий продемонстрировать против ведомства, а как сотрудник газеты, редактора которой хоронили.

Генерал Белявский испытующе посмотрел на меня:

— Вы, значит, были сотрудником газеты?

— Так точно!

— Ну, тогда это совсем другое дело!

Скоро состоялся суд. Ему предшествовали разговоры о тех мерах, какие принимает военное начальство если не для полного оправдания, то хотя бы для облегчения судьбы Сташевского. Председательствовавший на суде генерал Любавский, председатель военно-окружного суда, сомнений не вызывал. У него была прочная репутация человека, смотрящего на все глазами начальства. Но сомнения возбуждал прокурор военного суда полковник А. И. Беляев. Он считался прямым и порядочным человеком. В военной среде беспокоились, как бы Беляев своей прямою не испортил дела.

Наплыв публики был громадный, но мне удалось получить билет для входа.

На суде, впрочем, ничего нового и не выяснилось; главный интерес был сосредоточен на предстоящей речи военного прокурора.

Беляев начал... Аргументируя фактами, он доказал, что убийство было предумышленное. Сташевский не действовал в состоянии раздражения и запальчивости. Он с утра ездил по городу, разыскивая Сморгунера, пока не нашел его в суде.

Он был настолько спокоен, что даже не забыл о законе, защищающем его от ареста, после совершения убийства. Поэтому Сташевский подлежит наказанию как за убийство с заранее обдуманном намерением. Прокурор говорит о лишении всех прав состояния и о ссылке в каторжные работы на двадцать лет.

Впечатление — громадное. Военные карьеристы, занимающие первые ряды, нахмурились. Штатская публика переглядывается с удовлетворением.

Но почему так спокоен Сташевский, как будто все происходящее его мало касается? И почему прокурор продолжает стоять?

Беляев сделал только продолжительную паузу...

— Надо, однако, посмотреть на это дело еще и с другой стороны. Мог ли полковник Сташевский поступить иначе, чем он поступил? По городу пустили слух, будто Сморгунер побил полковника Сташевского стулом. Так и говорили: «Полковник, битый стулом!» Молва разрастается... Как ласточка, она вьется повсюду... Растет и крепнет мнение, будто полковник русской службы побит стулом! Что же мог полковник Сташевский сделать другого, кроме того, что он сделал? И

спрашивается, как бы поступил каждый иной из нас, если бы оказался на его месте? Это обстоятельство совершенно меняет вопрос об его ответственности за содеянное преступление...

Беляев кончил. На лицах военных карьеристов — веселая усмешка. В публике разговоры:
— Это защитительная, а не обвинительная речь!

Этот речью Беляев похоронил свою былую репутацию, впрочем, в глазах тех, мнение которых для его службы вреда принести не могло.

После короткого судебного совещания председатель суда Любавский читает приговор:

— Сташевский признается виновным в убийстве с заранее обдуманном намерением... Каторжные работы на восемь лет... Но, принимая во внимание смягчающие обстоятельства, суд постановляет ходатайствовать о замене этого наказания заключением в крепости на два года. Гражданский иск вдовы удовлетворен... Сташевский обязывается уплачивать вдове убитого по 50 рублей в месяц...

Окончательно Сташевский поплатился лишь восемью месяцами заключения в крепости.

Андижанское восстание

Редко где звякнет топор о кетмень... Ползут тихо. Темная ночь, густо заволокло, ни звездочки. Ветерок относит в сторону шорох и топот полуторатысячной, слившейся с землей, толпы. Больше киргизы, сартов мало. Шепчутся слова молитвы... Аллах поможет, Аллах не выдаст!

Передние ползуны остановились среди кустов. Уже совсем близко. Чернеют темные силуэты барака. Лениво переваливаясь, маячит сонная фигура часового. В бараке тускло мигает свет, притушенная лампа. Две роты стрелков спокойно разметались во сне, слышен разнотонный храп полутораста утомившихся лагерными занятиями, в душный день в Фергане, молодых людей.

Кучка киргиз, точно кошки, набрасываются сзади на клевавшего носом часового. Едва прохрипел, сжатый за горло цепкими руками...

Теперь — в бараки.

— Урр! Урр!!

С диким ревом набросились на спящих людей. Крошат головы топорами, разбивают черепа кетменями. Ножи застревают в груди.

— Урр!! Урр!!

Недоумевающие солдаты вскакивают, борются безоружные. Ружья стоят в пирамидах, в глубине барака. Уже восемь десятков солдат хрипят или лежат бездыханными^[334].

Не растерялся молодой дежурный офицер, подпоручик Карселидзе. Храбрый грузин сумел собрать около себя, при внезапном ночном нападении, кучку солдат, быстро роздал оружие.

— Пли!

Нападавшие остановились, услышав сухой треск ружей. Передние повалились.

— Пли! Пли!

Залп за залпом кучки солдат. Валяются трупы... Нападавшие дрогнули. Один, другой — к выходу. Хлынула вся банда. Карселидзе со своими солдатами — за ними. Залпы несутся в ночную тьму. Но нападавшие рассеялись между кустами во всех направлениях, оставляя повсюду свалившихся. Преследование невозможно.

Произошло это нападение летом 1898 года, при полном, как казалось, спокойствии населения. Этот мятеж получил название Андижанского восстания.

В Туркестане всегда тайно клубилась панисламистская пропаганда. Она поддерживалась эмиссарами из Турции. Ферганская область была особенно восприимчива к этой пропаганде. Население в ней было относительно воинственное, и покорено оно было русскими позднее, чем в других районах Туркестана. Память о времени, когда не было еще власти гяуров, ненавистных всякому правоверному, была совсем свежа. Население Ферганы густое, а русских здесь совсем мало. Русские к тому же сосредоточивались в городах и почти не соприкасались со всей людской толщей области.

К тому же в Фергане, отдаленной от административного центра, проявлялась халатность власти; надлежащего наблюдения за политическим настроением населения не было.

На такой почве, в конце столетия, здесь стало развиваться русофобское движение. В нем особенно выделился один местный святой — ишан. Он начал прямо проповедовать газават — священную войну против неверных, то есть русских. Для близоруких фанатиков, не видевших по своей безграмотности политического горизонта дальше Ферганы, такая война не казалась безнадежной. Русских войск в Фергане было так мало, что казалось легким их смести.

Администрация начавшееся движение прозевала. А ишан энергично действовал, и число его сторонников росло. Для успеха пропаганды он демонстрировал свою близость с Аллахом посредством довольно примитивных чудес. Вот одно из них. Туземцы — большие любители чаю, а ишан извлекал для охотников горячий чай прямо из стены сакли, где собирались заговорщики. Чудо производило на простаков большое впечатление. При обыске, после подавления восстания, в сакле ишана была найдена заштукатуренная водопроводная труба от большого самовара, скрытого в заднем помещении сакли.

Война должна была возникнуть сразу, в разных местах Ферганы, но начало ей взялся положить сам ишан.

Он избрал объектом нападения небольшой лагерь близ Андижана, где в бараках были расположены две роты солдат, в малочисленном составе мирного времени.

Неудача ишана парализовала восстание. На другой день все пошло обычным ходом. Посланные для преследования шайки отряды стали захватывать нападавших. Насколько вспоминаю, через некоторое время поймали и самого ишана.

Туркестанский генерал-губернатор барон Вревский был в момент восстания в отпуску, в России. Восстание решило и его судьбу. В Петербурге признали, что оно явилось результатом слабости власти.

Вместо него был назначен в Туркестан приамурский генерал-губернатор Сергей Михайлович Духовской. Он считался очень энергичным администратором. Духовской обратил на себя внимание еще по Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Молодым еще тогда генералом он был комендантом Эрзерума, временно взятого у турок.



Духовскому была дана директива — подтянуть распустившийся Туркестан. Ему был придан и помощник — старый туркестанский артиллерийский генерал Николай Александрович Иванов.

Еще в Петербурге у Духовского закипела работа. Разрабатывалось реформирование края.

Духовской переманил с собою в Туркестан несколько энергичных, по его мнению, людей из Приамурья; между ними был подполковник Ладыженский, который был назначен начальником города Ташкента, вместо занимавшего этот пост вялого полк[овника] Тверитинова.

Духовского ожидали в Туркестане, как Божью грозу. Туземное население, в массе никакого отношения к Андижанскому восстанию не имевшее, испытало страх и трепет. Все они были виноваты уже одним тем, что они — туземцы.

Весь путь от Ташкентского вокзала до города — около двух верст — разукрашен белыми чалмами. Мужское население Ташкента согнано для встречи нового «полуцаря», и оно шпалерами стоит по сторонам дороги. Дальше, собственно в городе, шпалеры войск.

От вокзала показались казаки со значком. За ними — коляска генерал-губернатора, сопровождаемая казачьим конвоем.

Все туземцы должны были низко склонить свои «виновные» головы в чалмах к земле... А седоусый полуцарь с грозной угрюмостью взирал на них из своей коляски...

После назидательных речей туземцам в Ташкенте Духовской поехал в мятежную Фергану. Население встретило его с коленопреклонением.

— Черное пятно легло на Фергану! — говорил им Духовской. — Безумцы, вы посмели поднять руку на солдат русского царя. Да знаете ли вы, что русский царь, если сочтет нужным, может поставить по батальону солдат в каждый ваш кишлак!

Население было нелицемерно напугано.

Пойманные участники нападения ишана были преданы военному суду.

Обед у генерал-губернатора. Все разговоры о восстании. Толстяк генерал Любавский, председатель военно-окружного суда, старается попасть в тон новому начальству:

— С ними, ваше высокопревосходительство, мы церемониться не станем! В двадцать четыре часа и приговорим, и повесим!

Замкнуто молчаливый, серьезный Н. А. Иванов, новый помощник генерал-губернатора, поднял свои глаза в больших очках.

— Зачем же так торопиться, ваше превосходительство? Если вы не будете так спешить, то из показаний подсудимых, быть может, узнаете и о других виновных.

Любавский, сконфузившись, поспешил поддакнуть:

— Действительно, лучше не спешить.

На Фергану было наложено несколько мер взыскания. Одной из них было высочайшее повеление о том, чтобы на широком расстоянии вдоль пути, по которому двигалась перед нападением на солдат шайка ишана, была уничтожена вся культура: кишлаки, отдельные постройки, сады, поля...

Временно заменивший Духовского Н. А. Иванов не мог смириться с этой мерой, которая губила скромное благосостояние множества совершенно невиновного и не связанного с мятежом населения. Он послал военному министру телеграмму с просьбой о высочайшем докладе — не будет ли угодно государю, в виду докладываемых им соображений, пересмотреть этот вопрос.

Военный министр Куропаткин ответил:

— Если один раз высочайшее повеление состоялось, оно должно быть приведено в исполнение! Оно и было приведено.

Новый начальник Ладыженский также поднимал престиж русского имени в Ташкенте, не имевшем собственно никакого отношения к восстанию. Он отдал приказ по городу: все туземное население, при проезде его, начальника города, обязано вставать и кланяться; едущие верхом обязывались также немедленно соскакать с лошадей и отвешивать ему поклон.

Выезжал Ладыженский в пролетке, позади скакали четыре вооруженных казака.

Население было настолько терроризовано усмирительными мерами, что оно и не подумало бы не исполнить приказа. Но меры оповещения о нем населения были совершенно недостаточны. Многие

сарты о приказе просто не знали. Это особенно относилось к приезжим из соседних кишлаков, ничего не подозревавшим о «престижной» мере Ладыженского.

Но в выяснение мотивов, почему не отвешен Ладыженскому поклон, никто не входил. Не поклонился кто — казаки подсакивали и избивали его нагайками, — к искреннему непониманию пострадавшего, за что, собственно, его так отхлестали. Конечно, престижу русского имени это отнюдь не содействовало.

Здесь, однако, оказалась на высоте скромная местная печать — маленькая газета «Русский Туркестан». Она вступила в борьбу с этим безобразием. Особенно старался И. И. Гейер, кажется, имевший личные счеты с Ладыженским. Прямо говорить о бесчинстве администрации было, конечно, невозможно, но придумали выход, печатая заметки в таком стиле: «Бесчинство хулиганов. Вчера на такой-то улице, в таком-то часу дня, мирно проходившие сарты подверглись избиению нагайками со стороны каких-то хулиганов. Бесчинство это тем возмутительнее, что оно, по случайности, произошло немедленно по проезде в этом месте начальника города, который, конечно, не мог видеть, что у него происходит за спиной, а потому и не мог принять мер к устранению этого хулиганства».

Ладыженский выходил из себя при появлении подобных заметок, но жаловаться ему было не на что: собственно, о нем ничего плохого не высказывалось.

Вся эта история и возбуждала общественное мнение против мер Ладыженского, и делала его смешным. Под конец Духовской счел нужным запретить Ладыженскому эти расправы, и казаков у него отобрали.

Печать победила.

С. М. Духовской

Чиновники, в мундирах и всех орденах, выстроились в зале канцелярии генерал-губернатора представляться новому начальству. Все трепещут в ожидании, пока их не представит Духовскому начальник его канцелярии. В линии выстроившихся — заведующий местной публичной библиотекой и музеем С. А. Лидский. Дошла очередь и до него. Духовской остановился:

— А как идут у вас в библиотеке дела?

— Плохо, ваше высокопревосходительство!

— Плохо-оо? Почему же?

— Средств отпускают на библиотеку мало, число посетителей библиотеки все уменьшается.

— Уменьшается? Значит, раньше посетителей бывало больше?

— Так точно, ваше высокопревосходительство. Больше!

— А теперь меньше?

— И все уменьшается, ваше высокопревосходительство!

— Гмм... Ну, а сколько лет вы заведуете библиотекой?

— Три года, ваше высокопревосходительство!

Пауза.

— А жалованье — вы получаете?

— Так точно!

— Вот что-с! Я привык к тому, что в библиотеках — вообще в просветительных учреждениях — люди работают бесплатно, идейно. А дела у них все улучшаются... Вы же — на жалованьи, а дела у вас все ухудшаются... Потрудитесь немедленно же подать прошение об отставке!

— Ва-ва-ваше высоко...

Пришлось все-таки Лидскому уйти.

Потом я спрашивал:

— Для чего вы, Семен Александрович, так сгустили краски. Ведь посетители у вас вовсе не уменьшаются?

— Да я хотел его разжалобить. Думал, если сошлюсь на недостаток средств, он прикажет их увеличить...

Ташкентская публичная библиотека была недурна. В ней между прочим был богатый библиографический отдел о Туркестане, в виде сборника Межова, еще тогда заключавшего в себе свыше ста томов^[339]. Впоследствии эта библиотека перешла, уже во время большевизма, в собственность Туркестанского университета. При библиотеке был музей, скромный, но тогда единственный в Туркестане. Впрочем, в нем недурен был этнографический отдел. Оба учреждения состояли при канцелярии генерал-губернатора.

С этой библиотекой произошел как-то курьезный случай. В туркестанских горах водится весьма ядовитый черный паук — каракурт. Его укусы для человека смертельны.

Кто-то из натуралистов наловил банку каракуртов и привез ее в дар музею. Но в библиотеке эту банку уронили на пол; она разбилась, а освободившиеся из неволи каракурты мгновенно расплозились по библиотечным полкам и книгам.

Началась паника и среди публики, и среди служащих. Выловить же каракуртов из сотни тысяч томов, с риском умереть от укуса при поисках, не было возможности.

Стали бояться брать книги...

Произошло чудо: книжная ли пыль оказалась губительной для каракуртов или что-либо иное, но их никто более не видел.

Как бывает всегда, нового начальника раздражает существование протезе его предшественника.

Одним из них был подполковник Фок, брат известного по защите Порт-Артура от японцев генерала Фока, в то же время — двоюродный брат барона Вревского. По этой последней протекции Фок получил место помощника начальника города. Для Фока это было синекурой: барин и эпикуреец, он в то же время, как и сам признавался, был непроходимо ленив:

— Судите сами, — говорил он мне, — могу ли я заниматься такими глупостями, какими должен по службе? Приходит ко мне какой-нибудь владелец домишки, просит разрешить пробить в стене дверь. Если он пробьет ее без моего разрешения, попадет под суд. Если я не разрешу ему пробить эту дверь, я попаду под суд. Бог с ним, с таким делом!

Фок был остроумен и находчив. Его остроты постоянно цитировались в ташкентском обществе.

Налетев грозю на Туркестан, Духовской на общем приеме представляющихся строго обратился к Фоку:

— Эээ, как вам приходился барон Вревский?

— Генерал-губернатором, ваше высокопревосходительство!

Духовской опешил.

Впоследствии такие анекдоты прекратились, Духовской стал сдавать. Убедился, что такой распущенности, как он ожидал, в Туркестане не оказалось, да и чиновничья мельница стала и его молоть. Брал свое также и возраст, память как-то стала ему изменять.

Его любимец, Ладыженский, ежедневно бывший у Духовского с докладом, мне говорил:

— Совсем у генерала ослабела память! На этом я могу спекулировать. Если он чего-либо не разрешит сегодня, выжидаю некоторое время, а потом докладываю опять, как совсем новое дело. Таким способом всегда можно добиться своего!

Семейная жизнь Духовского была тяжела. Старик, в сущности, жил одиноким. Жена его, Варвара Федоровна, была значительно моложе, чем он. Она еще и раньше обратила на себя внимание, напечатав, после Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., книгу: «Из дневника русской женщины в Эрзеруме». Она занималась литературной деятельностью и позже; между прочим, напечатала интересные воспоминания о Туркестане.

Но в Ташкенте она жила как-то особняком от мужа, своими личными делами и интересами. Появлялась только в неизбежных официальных случаях, иногда выступала у себя дома в любительских концертах. Видно было, что официальным своим положением она и тяготится, и не интересуется.

Вышло как-то так, что С. М. Духовской возымел симпатию к нашей семье. Бывало не раз, что он, сопровождаемый своим казачьим конвоем, заезжал к нам на обсерваторию. Во время одной из таких поездок Духовской надумал, что было бы хорошо обратить наш парк обсерватории в подобие Булонского леса для катания в нем фешенебельной публики.

Мысль не была удачной, но я, тем не менее, постарался укрепить Духовского в этом намерении.

План наш был таков: конечно, никакого Булонского леса из обсерваторского парка быть не могло; такую попытку можно было бы под конец и пресечь указанием на вред, приносимый катающимися для научных наблюдений. Но эта затея побудила бы генерал-губернатора, сказавши «а», сказать и «бе». Что за толк вышел бы из катания в обсерваторском парке, если во время распутицы до парка, не поломав в густой глинистой грязи коляски, нельзя было бы и добраться. Я уже упоминал об

этой злополучной дороге. Густая глина растворялась так глубоко, что колеса экипажа уходили в гущу по ось. Лошадям приходилось так туго, что худший участок дороги, версту с четвертью, они преодолевали, постоянно останавливаясь, не менее как в час. Один раз я на задних колесах пролетки остался в грязи, а лошади с передней осью ушли вперед... Потом кучер киргиз пробрался сквозь грязь, подставил мне свою спину и на ней перенес на сухое место. Извозчики отказывались ездить на обсерваторию в такое время. Толстяк Гедеонов, не державший своих лошадей, гарантировал извозчикам, что примет на свой счет ремонт экипажа в случае его поломки; только при таких условиях его возили. Вообще, севши на извозчика, было рискованно сказать:

— На обсерваторию!

Приходилось хитрить и, говоря извозчику:

— Направо! Налево!

— ставить его перед фактом поездки на обсерваторию. Не всегда это и удавалось. Начал я как-то такую дипломатию, а извозчик, повернув сердитое лицо, говорит:

— Чего уж там хитрить: направо, налево... Говорите прямо: на обсерваторию!

Вот нам и казалось, что, после устройства дорог для катания в парке, естественно возникнет мысль и о шоссировании доступа на обсерваторию.

Духовской дал бы соответственные указания Ладыженскому, а от последнего по городским делам зависело все.

Духовской увлекся этой мыслью и приказал начальнику штаба осуществить ее при помощи саперов. Но здесь всполошились мои сослуживцы, которые не понимали моего плана, а открыть им его я не мог. Они испугались, что их мирное и безмятежное житье будет нарушено. Поэтому, по их инициативе, против дороги в парке запротестовал начальник военно-топографического отдела, заменявший настоящего начальника военный топограф.

Недоумевающий начальник штаба приказал затребовать письменные заключения от всех чинов обсерватории. Залесский и Гульяев написали каждый по служебной записке, доказывая, какой от всего этого произойдет вред для их научной работы. Я же написал лаконически, что не вижу препятствий к осуществлению этого проекта.

Последовала резолюция: «Если астрофизик Стратонов не видит препятствий, то дорогу провести».

Явилась на обсерваторию рота саперов и стала проводить дорогу и строить мосты. Три дня длились работы, наконец, кончили.

Доложили Духовскому. Он приехал в коляске, прокатился по новой дороге... Но при его возвращении с ним произошла катастрофа. От какой-то причины на Московской улице, против тюрьмы, лошади испугались, понесли, коляска опрокинулась; Духовской вывалился на мостовую и сильно разбился.

Врачи уложили его в постель. Болезнь, однако, осложнилась. Немного поправившись, он поехал с семьей долечиваться в Россию. Он уже выглядел согбенным, — видимо, силы его слабели. Во время поездки здоровье его ухудшилось, и он умер.

Теперь на обсерватории поспешили уничтожить проведенную дорогу, хотя она была полезна нам самим. Залесский приказал дорогу перепахать и посадить на ней капусту...

Н. А. Иванов

Власть в Туркестане перешла к Н. И. Иванову. Он сразу же упразднил всю созданную Духовским помпу и фейерверочность. Казачий конвой стал не нужен. Деловитость, серьезность и простота были характерными свойствами нового правителя. Простота бывала у него и на приемах: гости как-то мало чувствовали себя подчиненными хозяина.



Н. А. Иванов

С супружеским вопросом у Н. А. что-то вышло не совсем гладко: впрочем, мало кто был в это посвящен. Побывав, после своего назначения, в Петербурге, он, как говорили, испросил у государя разрешения на вступление в брак со вдовой своего родного брата, Лидией Ивановной.

Ивановы были образцовой семьей, патриархальной и исключительно религиозной. К делу Н. А. всегда относился серьезно и вдумчиво. Он много работал сам, и его резолюции свидетельствовали об основательном ознакомлении с каждым делом. Окружение свое старался держать в твердых руках, но это ему не вполне удавалось: более ловкие и пронырливые все же умели и его обойти. Л. И. на мужа несомненно влияла, но это как-то мало вызывало осуждения. Она смягчала некоторую излишнюю сухость мужа.

Два или три года управления Иванова протекли для края спокойно и деловито, хотя особой инициативы, в частности — в деле культуры, им не проявлялось. Затем Иванов стал болеть, здоровье его все ухудшалось, и в начале 1904 года он умер.

Торжественно похоронили старого туркестанского артиллериста. И рельефно сказалось, что умерший был человеком, всем обязанным лично себе, но без связей и протекции.

Вдова вдруг почувствовала себя одинокой и ни для кого более не интересной. Еще недавно двери их дома ломились от ташкентцев, желавших быть поближе к источнику власти, а теперь — пустыня! Сотни заискивающе улыбающихся исчезли, а навещали Лидию Ивановну в ее горе лишь несколько человек. Она переживала свое разочарование в людях болезненно, а о некоторых из ближайших служебных «друзей» мужа говорила:

— Только теперь я вижу, каких змей мы отогревали на груди...

Она к этому имела основания; а «змеи» уже старались предугадать, в какую сторону им теперь направить улыбки и поклоны.

5. Еще — общественная жизнь

Военный мирок

Центральное место в русском обществе Ташкента занимал командно-военный мирок. Тесное соприкосновение военно-топографического отдела — а, следовательно, и обсерватории — со штабом округа давало повод и мне иметь общение с этим миром, в частности, с его пенками — с офицерами Генерального штаба. Перед моими глазами прошла целая галерея этих офицеров, тем более многочисленная, что на службу в Туркестане в Генеральном штабе смотрели как на кратковременный, но выгодный для карьеры этап.

Общее впечатление от мирка Генерального штаба — едва ли положительное. Были между этими избранниками военной касты более или менее умные, более или менее симпатичные и тактичные. Но надо всем, в общей массе, господствовал более всего карьеризм.

Вспоминаю по этому поводу факт, бывший уже не в Туркестане, а на Кавказе, однако тоже с офицерами Генерального штаба. Как известно, оканчивавшие академию Генерального штаба по первому разряду зачислялись в Генеральный штаб, а их товарищи, которым на экзаменах менее повезло, оканчивавшие поэтому по второму разряду, получали только право на ношение академического значка, но в Генеральный штаб не зачислялись.

В летней резиденции кавказского окружного штаба, в Коджорах, произошел в мое время такой случай. Для чинов штаба была устроена летняя ротонда-клуб, где офицеры также и столовались. Так вот офицеры, кончившие по первому разряду, то есть зачисленные в Генеральный штаб, потребовали как-то для себя отдельную комнату для обедов, потому что они не соглашались обедать в том же помещении, где столуются и окончившие академию по второму разряду.

Карьеристические свойства офицеров Генерального штаба особенно дали себя знать в эпоху возникновения большевизма. Мне привелось наблюдать развитие большевицкой революции из самого центра — из Москвы. По моему впечатлению, ни один род оружия, ни одно из отделений военных

управлений не дало такого большого процента перебежчиков в стан коммунистов, как это было с офицерами нашего Генерального штаба.

Эта черная роль значительного числа офицеров Генерального штаба не должна быть забыта в истории. Офицеры Генерального штаба всегда были исключительными баловнями по службе. Простая очередь несла их вперед, и офицерам достаточно было лишь заботиться о том, чтобы самим себе не слишком вредить. Преданные делу, а не карьере, офицеры Генерального штаба были редким исключением, по счастью, они все-таки были.

Из туркестанских офицеров Генерального штаба вспоминаю только о тех, которые чем-либо обратили на себя внимание в дальнейшем, во время Великой, а затем и гражданской войны.

Когда в штабе округа впервые появился только что вышедший из академии молодой капитан Генерального штаба Л. Г. Корнилов, он мало обратил на себя внимания. Небольшого роста, худощавый, со суженными монгольскими глазами, он только производил впечатление молчаливого человека.

Обедаю я как-то в гостях. Прислуга говорит:

— Приехал казак от начальника штаба. Привез пакет, но соглашается передать только вам в руки!

В пакете — письмо начальника штаба: ввиду особой секретности дела просит меня сделать у себя в астрофизической лаборатории увеличения с нескольких вложенных в пакет фотографий. Это — снимки, сделанные «кодаком»: снимки азиатской крепости, с высокими глинобитными стенами.



Дело оказалось в следующем: молодой офицер Корнилов был послан в военную рекогносцировку на афганскую границу. Здесь он самовольно превысил служебное поручение. Подкупивши двух туркмен и сам переодевшись туркменом, Л. Г. темной ночью переплыл с ними пограничную реку, пробрался в окрестности мало известной нам крепости — кажется, это был Патта-Гиссар — и наснимал ее «кодаком» с разных сторон.

Возвратившись с этой добычей, Л. Г. не знал, похвалят ли его за проявленную инициативу или взыщут за самоволие. Было первое. Этим шагом Корнилов сразу привлек на себя внимание и выдвинулся среди остальных молодых коллег.

Познакомившись с Корниловым, я получил впечатление, как будто он постоянно занят своими мыслями, а потому так малоразговорчив. В нем, однако, я не замечал карьеристического заискивания перед начальством. Он пробыл в Ташкенте около года, а затем был переведен, кажется, на Дальний Восток.

Николай Николаевич Юденич был тогда сравнительно молодым, лишь в чине подполковника. Красивый, видный офицер, со свисающими запорожскими усами. Несколько полный, но это шло к его высокому росту.



Среди других офицеров Генерального штаба Н. Н. выделялся серьезностью. Не бывало слышно об его участии в их попойках и т. п. В то же время он проявлял, что было среди них вовсе редкостью, интерес к науке. Он был, например, деятельным членом правления Туркестанского географического общества.

В Ташкенте же он женился на вдове Александре Николаевне Сычовой, рожденной Жемчужниковой. В семье ее брата Н. Н. Жемчужникова часто устраивались для близкого кружка, в который входили оба Юденича, и мы с женой, обеды. В таких случаях Н. Н. бывал приятным и веселым собеседником, но в то же время сдержанным. Как будто он всегда следил за собой и боялся, что скажет слишком много или вообще в чем-либо себя проявит.

Затем Юденичи переехали в Польшу, где Н. Н. командовал полком.

Через некоторое число лет мы снова встретились с Юденичами в Тифлисе. Он был назначен старшим помощником начальника штаба, следовательно, занял в военном мире видное положение. В нём военные заискивали.

Мы бывали у Юденичей на их журфиксах¹. Собиралось много молодежи, преимущественно Генерального штаба. Эти гости сильно лебезили перед хозяевами. Сам Н. Н. старался быть простым и любезным хозяином, не считавшимся ни с чинами, ни с положением своих гостей. Все же казалось, что эти вечера хозяев, особенно А. Н., тяготят. Под конец нам стало противным наблюдать эту картину подлипальничества военной молодежи перед хозяевами, и мы перестали посещать журфиксы Юденичей.

В ту же пору у самих Юденичей возникли шероховатости с начальством. Жена наместника, графиня Елизавета Андреевна Воронцова-Дашкова бывала всегда подчеркнуто любезна и с грузинской аристократией, и с армянскими купчихами, но проявляла некоторое пренебрежение к русскому служилому люду и их дамам. По-видимому, на этой почве что-то и вышло с Юденичами.

Оба они, особенно А. Н., с тоскливыми лицами появлялись на короткий срок на приемах у графини В.-Д., но мы видели их веселые лица, когда они выходили из дворца. У нас, русских, обязанных по службе посещать приемы жены наместника, такое настроение бывало, впрочем, явлением нормальным.

Неприятнь графини Воронцовой-Дашковой к Юденичам, по-видимому, отразилась впоследствии даже на ходе военных действий во время Великой войны. Сначала фронтом против турок командовал генерал Берхман, начальник штаба на Кавказе. Но он неудачно захотел затмить

славу Суворова, погнавши войска со стремительной скоростью, но и с большими и напрасными потерями вперед. Кончилось катастрофой. После этого командование фронтом фактически перешло к Юденичу, юридически же главнокомандующим являлся престарелый граф Воронцов-Дашков. Ходившая по России молва гласила, что графиня Воронцова-Дашкова вмешивалась, благодаря своему влиянию на слабовольного графа, в военные операции, нарушая этим стратегические планы Юденича. Она будто бы заставляла жертвовать общим планом кампании, чтобы защищать пользовавшееся ее симпатией армянское население от турок в местах, где происходили военные действия. Так ли это было на самом деле, покажет история войны.

От Н. Н. Юденича я несколько отдалился ввиду его чрезмерной осторожности при моем конфликте с неким Филипишиным.

Это был весьма сомнительный тип, появившийся на рубеже века в Ташкенте. Он был офицером австрийской армии, военным инженером; по происхождению же это был галичанин. Филипишин бежал в Россию, захватив с собою, как говорили, секретные планы крепости Перемышля. Молва гласила, будто с его стороны это было бескорыстным предательством, сделанным ради прекрасных глазок России. Вероятно, он сам пустил о себе такую легенду.

Беглеца откомандировали в Ташкент. Здесь его прикомандировали к военно-топографическому отделу, где мы с ним таким способом как бы стали сослуживцами. Впечатление Филипишин на всех производил довольно отрицательное, и мало верилось в его идеалистические побуждения.

Позже Филипишин устроился лучше: был назначен помощником областного инженера в Ферганскую область. Сначала на новом месте дела его шли благополучно, но затем в техническом отделении областного правления были обнаружены злоупотребления. Несколько человек, в их числе и Филипишин, были преданы суду судебной палаты, и Филипишин был приговорен к четырем годам тюрьмы.

Он был подавлен этим приговором. Поехал в Петербург хлопотать. Говорил, что выждет проезда государя, прорвет полицейский кордон, бросится на колена перед царем и будет просить о помиловании. Однако этого не сделал.

Через несколько лет внезапно я его встретил в Тифлисе. Он теперь оказался членом редакции органа «Союза русского народа» — «Голоса Кавказа», ультрапатриотической бутербродной газетки, питавшейся, между прочим, ежемесячными подачками из канцелярии наместника, в которой я занимал должность вице-директора.

В эту пору произошло убийство несколькими лицами из грузинского духовенства экзарха Грузии архиепископа Никона. Акт был явно антирусский, и вдруг встал остро вопрос об «истинных русских чувствах». Измену стали искать повсюду, в том числе и среди чисто русских. Появились добровольные сыщики, и во главе их стал «Союз русского народа» со своим печатным органом. Редакция «Голоса Кавказа», помещавшаяся на Головинском проспекте, вывесила, между прочим, над своим помещением черный флаг.

Прошло две-три недели. Как-то случайно встретились на Головинском проспекте, против «Голоса Кавказа», три старых туркестанца: Юденич, Филипишин и я. Обменялись несколькими незначительными фразами, говорить всем троим вместе было не о чем, и я как-то машинально, повернувшись в сторону редакции, произнес:

— Флаг у вас еще висит...

Через несколько дней стали вдруг с разных сторон поступать ко мне сведения, что из редакции газеты исходят по городу такие разговоры:

— Вот, мол, какова наша русская администрация на Кавказе: вице-директор канцелярии наместника его величества на Кавказе позволил себе открыто глумиться на улице над тем, что редакция «Голоса Кавказа» вывесила черный флаг по поводу убийства экзарха Никона.

По создавшейся тогда политической обстановке подобные слухи были опасны.

Мой шеф, директор канцелярии Н. Л. Петерсон, посоветовал, чтобы я ему написал по этому поводу официальное письмо с изложением, как происходило дело в действительности, а он передаст это письмо наместнику. При этом Петерсон настаивал, чтобы я сослался на Юденича как на присутствовавшего при разговоре.

К моему удивлению, Н. Н., хотя и признал клеветнический характер выпада Филипишина, но хотел отклонить ссылку на него. Больше всего он боялся, как бы не попасть свидетелем в суд. Под конец он согласился на ссылку на него только наместнику.

Так все и было сделано. Эпизод был ликвидирован, но этот случай охладил меня, конечно, к самому Н. Н. Юденичу.

Среди ужасных расправ на фронте, в 1917 году, со своим начальством распропагандированных «сознательных» солдат особенно выдается расправа с начальником дивизии генералом Гиршфельдом. Он был буквально исколот штыками своих солдат. Приведенный для усмирения «революционной» пехоты кавалерийский полк поддался пропаганде и перешел на сторону взбунтовавшихся солдат. Вместе с Гиршфельдом был убит и комиссар временного правительства. Заместитель этого комиссара, ставший впоследствии профессором В. А. Костицын, водворявший порядок на месте убийства, рассказывал мне, что ему стоило немало труда и хитрости, чтобы отобрать у сознательных солдат и увезти для погребения трупы Гиршфельда и комиссара.

Константин Григорьевич Гиршфельд был в Ташкенте еще молодым капитаном Генерального штаба. Среди остальных кутил офицеров он был едва ли не самым выдающимся. Кажется, был готов пить каждый день и целый день, и его лицо было вечно одутловатым и серым.

Жена Гиршфельда, худенькая небольшого роста женщина, никогда не отпускала Котика без себя. Она участвовала поэтому во всех его ночных попойках, хотя было видно, что она губит этим свое здоровье: всегда выглядела переутомленной и бледной. Ее участие в кутежах мужа объясняли ее боязнью, что без жены К. Г. разойдется уже вовсе без удержу.

Но в общем Гиршфельд считался не злым и безобидным человеком, вредящим больше всего себе же самому.

В военной среде говорили, будто трагический конец Гиршфельда был вызван его же виной: будто, когда пришел кавалерийский полк, Гиршфельд прежде всего пригласил все офицерство на завтрак, а в отсутствие офицеров полк и был распропагандирован. В. А. Костицын, производивший расследование убийства, отрицал это.

Капитан Снесарев, появившийся прямо из академии на ташкентском военном горизонте, сразу очаровал дам. Высокий стройный красавец, видимо, избалованный дамами. К тому же он обладал недурным, хотя и мало обработанным баритоном; он иногда выступал в любительских концертах в военном собрании. Избалованный атмосферой дамского поклонения, он держал себя провинциальным львом и не был чужд самомнения. Был определенным карьеристом.



А. Е. Снесарев

Много прошло лет, когда мы снова встретились со Снесаревым в Москве при большевицкой власти. Он был одним из тех офицеров Генерального штаба, которые перешли на службу коммунистам. Во время гражданской войны Снесарев командовал одной из красных армий, действовавших против Деникина. Что-то, однако, с его командованием не вышло; должно быть, ему, царскому генералу, мало доверяли. Он был перемещен на пост начальника красной академии Генерального штаба.

Снесарев пользовался теперь репутацией ученого востоковеда и, вместе с тем, он обладал ораторским дарованием. В созданном нами, одновременно с организацией Туркестанского

университета, Туркестанском научном обществе он часто выступал, и его доклады всегда имели, благодаря красоте изложения, успех.

В создаваемом нами Туркестанском университете он стал деканом военного факультета, — этот опыт, по моей инициативе, был произведен в России впервые. Об этом факультете, как и вообще об университете в Туркестане, будет рассказано в другом месте.

Ознакомившись, по своей роли председателя Туркестанского научного общества и одного из создателей университета, ближе со Снесаревым, я без труда убедился в том, что он нисколько не сочувствует ни большевизму, ни социализму вообще. Он просто перешел к новой власти ради служебных выгод, но его симпатии как будто были на стороне белых. Посещая его на месте службы, в самой академии, я видел грустную его роль здесь. Видно было, что ему не доверяют и что над ним есть неусыпное наблюдение.

Действительно, вскоре его и совсем сместили с этого поста, — он был заменен красным героем Тухачевским.

Снесарев оказался не у дел; он только получил какое-то полунаучное место, — был сдан большевиками в архив. Мне он рассказывал, что постоянно видит около себя чекистских филеров, которые явно следят за каждым его шагом. Жизнь стала невеселая.

Барон Таубе ни в чем, кажется, не стал известен, но он занят тем, что довел карьеризм до карикатурных форм. Белобрысый немец, в чине подполковника Генерального штаба, весь ушел в искание пользы для себя, выискивая ее со всех сторон. Метался от человека к человеку, быстро отворачиваясь, если обманывался в ожидаемой пользе.

Особенно комично было наблюдать Таубе на больших балах в военном собрании. В гостиной, на сцене, рассаживаются старушки генеральши. Между этим старым поколением появляются две молодые фигуры: Таубе и его жена. Баронесса была даже симпатичной женщиной, но она всецело была во власти мужа. Барон становится у края рампы и отсюда глазами дирижирует женой. Оглядываясь время от времени на мужа, баронесса, по указанию его глаз, подсаживается то к одной, то к другой из старушек. Трудно было удержаться от улыбки, наблюдая эту высшую дрессировку.

Когда Таубе встречал жену или меня едущими, в сухое время года, в коляске, он узнавал нас и любезно раскланивался. Если же, в грязное время года, когда дорога становилась для коляски непроезжей, он видел нас в «корзинке», Таубе, верно, боясь себя скомпрометировать, делал вид, будто нас не узнает.

Кадетский корпус

Вопрос с обучением на казенный счет детей военнослужащих стоял в Ташкенте в прежнее время остро. Дети обучались в кадетском корпусе и в институте, находящихся в Оренбурге. Железной дороги из Оренбурга до Ташкента тогда еще не было, и дети должны были ездить через Кавказ. Путешествие длилось целую неделю. Положение было нелепое, все равно, что посылать детей на учебную часть года из Мадрида в Москву.

Перенос обучения таких детей в Ташкент был осуществлен, хотя сначала лишь частично, при Н. А. Иванове. Сначала создана была подготовительная военная школа, которая затем, по мере прибавления классов, была преобразована в кадетский корпус.



Эта школа стала любимым детищем командующего войсками округа, — тем более, что Ивановы детей сами не имели. Они часто навещали корпус и постоянно приглашали малышей-кадет в свой генерал-губернаторский дом, где закармливали их лакомствами.

Во главе подготовительной школы был поставлен подполковник Генерального штаба Бонч-Богдановский. Юркий был это человек, с запасом светской ловкости. Он старался завязывать хорошие отношения со всеми, авось ему пригодится. Но, как только разочаровывался в полезности кого-либо, — сахарность тона исчезала, а часто Бонч просто становился грубым.

Бонч-Богдановский тщательно обхаживал супругов Ивановых, когда они были в силе. Помогал, в качестве добровольца, развлекать на приемах гостей, содействовал при устройстве балов, сам дирижировал на балах... Ивановым он угодил, и, когда возник проект подготовительной школы, Бонч

учел, что она вскоре неизбежно обратится в корпус. Для подполковника стать директором корпуса было крупной карьерой. Он выпросил себе у Ивановых место начальника школы.

Переход был удивительным, и на одном из ужинов, на которых я часто, по кавказскому обычаю, говорил тосты стихами, я ему высказал:

Бонч — изящный офицер,
И танцор, и кавалер...
А теперь — кто б думать мог? —
Из него стал педагог!
Для него путь жизни прост,
И в честь Бонча — ныне тост!

Однако в этой новой и незнакомой роли Бонч сохранил за собою лишь высшее управление, представительство. Вся же тяжесть руководства школой, а потом и корпусом, легла на инспектора классов — молодого офицера Дунин-Барковского.

Я был в последних классах гимназии в Екатеринодаре, когда на улицах появилась реклама о новом танцклассе Дунин-Барковской. Затем мы стали видеть маленького реалиста, с непропорционально большой головой на тщедушном теле — его называли Дунин-Барковским. Гимназисты, обучавшиеся в новом танцклассе, рассказывали о трогательной картине, как пожилая уже учительница демонстрирует танцы в паре с маленьким сыном-головастиком.

Позже этот юноша попал в Тифлисский учительский институт, готовясь к педагогической деятельности. Однажды он здесь перепугал начальство. Во время приезда в Тифлис Александр III посетил институт. Внезапно из рядов учеников выступил самовольно Дунин-Барковский и прочитал царю сочиненное им же стихотворение. Самовольство не принесло ему ожидаемой выгоды, но не повлекло и серьезного взыскания.

Педагогическая карьера Дунин-Барковского в значительной мере зависела от попечителя учебного округа К. П. Яновского, большого друга моего отца. Приехав в Тифлис, я вдруг застал в доме родителей Дунин-Барковского, втершегося к нам под видом моего лучшего друга детства, а я с ним и знаком даже не был. Он был так настойчив в демонстрации дружбы со мной, что пришлось дать прислуге особые относительно него инструкции.

В дальнейшем он переменял планы, стал офицером, попал в академию Генерального штаба, однако окончил ее только по второму разряду. Каким-то образом, попав в Туркестан, втерся к Иванову и стал инспектором классов.

Теперь на карточках его матери стояло: «вдова действительного статского советника», а в гостиной висел увеличенный портрет самого советника в вицмундире со звездой. Шутники уверяли,

что звезда явно пририсована на фотографии в позднейшее время... Во всяком случае, вспоминать о захудалом екатеринодарском танцклассе теперь не полагалось.

И Дунин-Барковский процветал в корпусе, и корпус процветал при Дунин-Барковском. Правда, родители кадет не раз отмечали его двуличность: при них он ласково мазал детей рукою по головам; без них, по словам детей, такой ласки они отнюдь не встречали.



В. Н. Дунин-Барковский

Но факты говорили сами за себя: успешность ташкентских кадет в науках была поразительная, — кажется, рекордная в России. Это была заслуга Дунина. Приехал в 1905 году посетить корпус начальник военно-учебных заведений вел. князь Константин Константинович. Он высоко оценил блестящую постановку дела — новый триумф для головастика.

А через несколько лет приехала настоящая ревизия. И вдруг обнаружилась сплошная бутафория с успехами обучения. Знания кадет ни в какой мере не отвечали высокой их оценке Дунин-Барковским и его сотрудниками.

Вышел скандал. Дунин-Барковского удалили из корпуса. Но он все же выплыл: обошел видное ташкентское купечество, уговорил устроить коммерческое училище и стал его директором.

Судебная реформа

Одним из крупнейших событий того времени была судебная реформа.

Мы застали в Ташкенте еще старый «областной» суд, с упрощенным дореформенным производством. Председателем суда был Сем[ен] Вас[ильевич] Сукачев. Когда-то он был надзирателем Ришельевской гимназии в Одессе, где в ту пору мой отец был директором. Потом Сукачев восполнил образование, служил по судебному ведомству и сделал относительную карьеру. В общем, это был бесцветный человек.

Более колоритной фигурой являлся приехавший одновременно с нами в Ташкент областной прокурор Сергей Григорьевич Коваленский. Он пробыл здесь недолго, промелькнул метеором. Высокий, худой, с сильно испорченными зубами, Коваленский был умен и умел красно говорить. Производил он, однако, впечатление большого карьериста и салонного говоруна.

Сомнительно, чтобы он был здесь серьезным прокурором. Дел в областной прокуратуре было, по-видимому, совсем мало, и Коваленский — не то вдовец, не то разошедшийся с женою — усердно занимался ухаживанием за молоденькими дамами. Удивительно, что, несмотря на возраст и не вполне благоприятную внешность, он умел как-то действовать на женскую физиологию, а может быть просто умел заговаривать женщин. Факт его успеха у молодых дам был налицо.

Для такого карьериста Ташкентский областной суд был мелкой водой. Здесь он задержаться не мог и вскоре исчез с горизонта, оставив по себе обязательную память только своим романом.

В последующем времени он стал прокурором Тифлисской судебной палаты. Посетив около этого времени Тифлис, я слышал в судебных кругах о таком случае:

Коваленский ехал к месту новой службы через Баку. В купе разговорился с соседом — оказалось, бакинский нотариус.

Собеседник поделился с ним судебной новостью: к ним на Кавказ едет новый прокурор палаты, очень дурной человек.

— А вы-то его знаете?

— Лично я не знаю... Но все так говорят. Это — подлец, бабник и карьерист... Жалуют прокуратуру, что к ним назначен такой начальник.

— Но, может быть, он хоть человек неглупый?

— Какое! Круглый дурак!

На другой день — нотариус в числе приглашенных на обед у прокурора окружного суда. Обед — в честь прибывшего прокурора палаты.

Нотариуса представляют почетному гостю, и — о ужас!

— Ваше превосходительство! Ради Бога, простите! Ведь я не знал...

— Пустяки! Но знаете что? Все то, что вы обо мне говорили, именно, — что я подлец, бабник и прочее — для меня не ново. Все это не один раз слышал я о себе и раньше. Но вот то, что я «круглый дурак», об этом я узнал впервые только от вас!

Также и в Тифлисе он пробыл недолго, и ни в ком не оставил по себе добрых воспоминаний.

Еще некоторое время — и о Коваленском повсюду заговорили: он был назначен на влиятельный в России пост директора Департамента полиции. И в этой, однако, должности он пробыл недолго. На чем-то сломал себе шею. Пришлось уйти и оказаться не у дел.

Вскоре печать сообщила, что С. Г. Коваленский застрелился.

В самом конце столетия русские в Туркестане были обрадованы введением в крае реформы суда по законам Александра II. Радовались не столько потому, чтобы старый суд в Ташкенте был уж так плох, сколько из сознания об уравнивании с судебными порядками всей России. До сознания туземного населения смысл реформы тогда еще не проникал.

Министерство юстиции, очевидно, хотело произвести впечатление реформой, а потому среди прибывшего судебного персонала были и выдающиеся судебные деятели. Впрочем, для большинства пребывание в Ташкенте было лишь промежуточной станцией, кратковременной остановкой на пути карьеры.

Старшим председателем судебной палаты был назначен Сияльский, прибывший из Киева, где он был председателем департамента палаты. Сияльский произвел чарующее впечатление. Высокий, с седой бородой, как казалось, особенно чистый духом, он был одним из судей той начальной эпохи

нового суда, которые снискали такое уважение этому ведомству во второй половине века. Блестящим оратором он не был, хотя говорил неплохо.

Сияльский не прослужил в Ташкенте, кажется, и года, — вернулся по своей воле в Киев с понижением, то есть на прежнее место. А еще через некоторое время газеты сообщили об его смерти; кажется, это было самоубийство.

Прокурором судебной палаты прибыл Николай Александрович Дедюлин. По виду — суховатый, даже суровый. Он имел хорошие связи: его брат, генерал Дедюлин, был в окружении Николая II и некоторое время состоял дворцовым комендантом. Вероятно, эти связи делали Дедюлина — а также и его семью — преисполненными важности.

Правда, судебный персонал в Дедюлине сильно заискивал.

По уходе Сияльского Дедюлин занял его место.

Товарищем прокурора палаты прибыл Владимир Павлович Носович. Тогда он был еще сравнительно молодым человеком; жена его также была молоденькая и хорошенькая, привлекавшая к себе в ташкентском обществе внимание.

По служебному положению Носович в Ташкенте большой роли не играл. Оратором был хорошим. Лицо его производило странное впечатление: как будто он один раз чему-то удивился, да так выражение удивления на его лице и застыло.

Позже, уже по выезде Носовича из Ташкента, был момент, когда его имя привлекло на себя внимание всей интеллигентной России. Он был командирован на расследование по делу о знаменитом расстреле рабочих на Ленских золотых промыслах, по приказанию жандармского ротмистра Терещенко. Добросовестное расследование Носовича, давшее результат не в пользу власти, было признано слишком либеральным, и его служебная звезда потускнела.

Незадолго до Великой войны Носович был председателем окружного суда в Твери. Здесь он оставил по себе хорошую память, как об этом рассказывали сослуживцы.

Таковы были главные деятели судебной палаты.

В окружном же суде на должность председателя прибыл Алексей Алексеевич Чебышев.

Это был блестящий оратор, приводивший слушателей в восторженное состояние. Однако так бывало лишь в случаях, когда он специально подготовлял свою речь. В этих случаях каждое слово им так вычеканивалось, что речь выходила изящно-филигранной.

Когда же Чебышев говорил по обыкновенным случаям, например, на суде, при председателемском резюме, — его речь не производила вовсе впечатления.

Восхищались ораторским талантом Чебышева, но симпатий к себе он не завоевал. Как председатель суда он проявлял барскую бесцеремонность, иногда даже третирование, в отношении подсудимых, свидетелей, защитников, особенно же частных поверенных.

Прокурором суда был назначен Сергей Николаевич Трегубов, человек небольшого роста, но, по-видимому, с большими связями. Позже он стал сенатором, и сейчас играет довольно видную роль в правой эмиграции в Югославии.

После торжеств, сопровождавших введение реформы, настали рабочие будни. Мне лично пришлось соприкасаться с новыми деятелями, так как я был назначен одним из почетных мировых судей, а это в Туркестане не являлось только почетным званием. Состав суда был слишком мал, насколько вспоминаю — только два члена. Поэтому их сразу же стали заменять почетные мировые судьи. Между нами была для этой цели распределена очередь. Лично я избегал участия по гражданским делам, другие же почетные судьи и в этом охотно участвовали.

Обыкновенно заседания назначались на 10 часов утра, и к этому времени вызывались подсудимые и свидетели. В первый раз и я явился в суд с астрономической точностью, но был наказан потерей зря двух часов. А. А. Чебышев являлся только к полудню. Потом и мы приспособились, и являлись в суд только к двенадцати. Мы это могли делать, но иное положение было подсудимых и свидетелей.

Заседания Чебышев вел ровно, спокойно, изредка совещаюсь с членами направо и налево, но гораздо чаще объявляя от себя:

— Суд постановил и т. д.

В совещательной комнате засиживались за чаепитием без нужды слишком долго, отвлекаясь посторонними разговорами и не считаясь с тем, что в соседней комнате люди ждут решения своей судьбы. Разумеется, в этом виноваты были не мы, случайные судьи. Нередко в совещательную комнату приходил для беседы и чаепития и товарищ прокурора. На такие отступления от порядка смотрелось, как на сущие мелочи.

В самом судопроизводстве, при ведении следствия при помощи переводчика, явно выступала ненормальность. Иной раз подсудимый, сарт или киргиз, говорит целых полчаса, доказывая нам свою невиновность. Переводчик, тупо и равнодушно на него смотрит, позевывает, а потом изрекает суду:

— Он говорит, что невиновен.

Впрочем, в совещательной комнате дела все же обсуждались основательно и не торопясь. Ни одного решения на моей памяти не было вынесено наспех.

Учебный мирок

Во главе учебного ведомства в Туркестане формально стоял генерал-губернатор, имевший права попечителя учебного округа. Фактически же роль попечителя принадлежала главному инспектору училищ Туркестанского края.

Эту последнюю должность занимал в те годы человек, имевший печальную заслугу перед Россией, — Федор Михайлович Керенский. Он являлся воспитателем двух вошедших в историю героев: Ленина-Ульянова и собственного сына, А. Ф. Керенского.



Ф. М. Керенский

Ф. М. был директором Симбирской гимназии, где окончил курс В. И. Ульянов-Ленин, и даже был ряд лет классным наставником Ленина. Позже в большевических газетах была напечатана аттестация, написанная Ф. М. Керенским Ленину, когда последний окончил гимназический курс и поступал в университет. Керенский, в общем, хвалил Ленина, отмечая только его замкнутость. В качестве же положительных свойств Ленина отмечал его религиозность... Удивительная прозорливость педагога! Ленин, в сущности, был неблагодарен, воюя с А. Керенским вместо того, чтобы приглубить сына своего наставника.

Ф. М. Керенский — грузная, высокая фигура, некрасивый, с грубыми чертами лица, насквозь пропитанный сознанием своей генеральской важности. По впечатлению — он должен бы происходить из духовного звания. В педагогическом мире Туркестана его сильно не любили — за формализм и за пристрастие. Он, между прочим, не перебарывал в своих директорах индивидуальности, и один из них, директор учительской семинарии Софийский, человек в высшей степени достойный уважения, своим разрывом сердца был едва ли не исключительно обязан неприятностям со стороны своего начальства.

Керенский находился в служебных делах, особенно в том, что относилось к личному составу, под сильным влиянием жены, заносчивой и кичливой женщины, весьма нелюбимой в ташкентском обществе. Около нее всегда вертелось несколько заискивающих перед «генеральшей» педагогов, и эти лица получали перед другими разные служебные преимущества. Наоборот, не пользовавшиеся расположением г-жи Керенской испытывали на себе соответственные последствия.

В результате в педагогическом мире Ташкента чувствовались приниженность и угнетенность. Генерал-губернаторы были заняты военными и общеадминистративными функциями, и им некогда было входить в детали учебного дела; они полагались во всем на Ф. М. Керенского. Попытки апелляции к ним были мало обнадеживающими. До Петербурга же было далеко... Педагоги молчали и уходили в себя, стараясь затушевать свою индивидуальность.

В этой семье Керенского были три дочери и два сына; старший из сыновей, Александр, так себя впоследствии прославил.

Александр Федорович Керенский рос на моих глазах, он обучался в ташкентской гимназии. Худосочный, щупленький мальчик. Бледный и слегка сутулый. Способным он не казался, по крайней мере, об этом не приходилось слышать. Судя же по получаемым отметкам, он учился прекрасно. Но

кто же из педагогов рискнул бы иначе оценить успехи сына так умевшего сводить с подчиненными счета начальника? Насколько помню, Саша Керенский окончил курс с золотой медалью.

Этот юноша был в седьмом классе, когда в гимназии был поставлен на ученическом спектакле «Ревизор».

Живо вспоминается мне небольшой гимназический зал, часть которого отделена для сцены. В остальной части впереди — почетные гости и семьи педагогов, остальное пространство — густая толпа гимназистов.

В первом ряду восседает, грузно развалившись на кресле, Ф. М. Керенский; рядом, с пенсне на остром носу, Н. А. Керенская, недружелюбно оглядывающаяся по сторонам.



Ташкентские педагоги и гимназисты. Ф.М.Керенский сидит во втором снизу ряду четвертый слева. В нижнем ряду сидит его сын А.Ф.Керенский третий слева с узнаваемым «наполеоновским» жестом.

Конечно, главная роль предоставлена сыну начальства. И Саша Керенский в роли Хлестакова оказался вовсе недурен. Иные находили даже, что он — настолько хороший Хлестаков, что эта роль могла бы быть коронной во всей его последующей артистической карьере.

Быть может, это было и преувеличением: в игре его чувствовалась некоторая робость, неуверенность и неуклюжесть. Но это было данью молодости. В последующей жизни, как известно, А. Ф. Керенский вовсе освободился от робости при исполнении своих ролей.

В последующем А. Ф. приезжал студентом домой на вакации. В первые приезды выглядел — как тогда говорилось с легкой руки писателя П. Д. Боборыкина — «белоподкладочником». Я встречал его в белоснежном студенческом кителе, в длинной до пят серой «николаевской» шинели, в белых перчатках. Он выглядел типичным студентом — генеральским сынком, и ничто не показывало на интерес в нем к революционным идеям. Все это, очевидно, пришло позже.

Уехавши из Ташкента, я непосредственно А. Ф. Керенского не наблюдал. С удивлением узнал впоследствии из писем, что по политическому процессу в Ташкенте нашего хорошего знакомого И. З. Чарковского ожидается приезд защитника, «специализовавшегося по политическим процессам», А. Ф. Керенского.

Его имя снова обратило на себя внимание в связи с процессом по поводу известного расстрела на Лене. Последующая биография А. Ф. хорошо известна.

Видным туркестанским общественным деятелем был директор мужской гимназии в Ташкенте Николай Петрович Остроумов. Тоже — красочная фигура. По образованию — из духовной академии, по подготовке — едва ли не миссионер, он посвятил всего себя служению русскому делу так, как это отвечало его идеологии.

Приехав в Ташкент из Казани, он был сначала директором учительской семинарии, а затем стал директором гимназии.

Со своим прямым начальником, Ф. М. Керенским, заместителем которого Остроумов бывал в служебном порядке, он не ладил, даже несмотря на то, что к начальству всякого рода Н. П. всегда проявлял большую почтительность. Очевидно, требования Керенского превышали то, что скромный в своем чиновничьем самолюбии Остроумов мог перенести.

Под конец, с Н. П. произошел по службе несчастный случай: его систематически обманывал делопроизводитель гимназии. Давая подписывать ассигновку на пятьдесят рублей, делопроизводитель располагал текст так, чтобы слово «пятьдесят» начиналось с новой строки. После же подписи ассигновки Остроумовым он приписывал в конце предыдущей строки слово «сто». Получив в казначействе 150 рублей, он клал 100 в карман, а 50 сдавал в гимназию. Разумеется, рано или поздно это обнаружилось бы, но делопроизводитель успел похитить 15–18 тысяч рублей, пока это заметили. Его судили, приговорили к нескольким годам тюремного заключения, а затем, по манифесту, наказание было смягчено. Остроумову же пришлось покрывать растрату из личных средств.

По этому случаю Керенский не преминул свести счеты: Остроумов был переведен, с понижением, обратно директором учительской семинарии. Наказание Остроумов принял с христианским смирением.

Основной, одухотворявшей Остроумова, идеей была русификация края, — точнее, приобщение местного населения к русской культуре. Знаток азиатских языков, в частности — сартского, Н. П. редактировал издававшуюся при управлении генерал-губернатора на сартском языке «Гуземную газету», ведя ее в том же русификаторском тоне. Относительно политической роли этой газеты Н. П., пожалуй, несколько ошибался. Ее читали только должностные лица из сартов, которые, ради служебной или иной корысти, и без того льнули к русским. В народную же толщу газета не проникала, но из-за нее Н. П. пришлось впоследствии поплатиться.

Остроумов поддерживал личные связи и сношения с более видными и более образованными сартами, склоняя их, между прочим, отдавать своих сыновей в русские средние школы. Его радовало,

когда эта агитация увенчивалась успехами, что, впрочем, случалось редко. Н. П. также выискивал среди сартов литературные силы, извлекая их на свет Божий, протезировал туземным поэтам... В частности, он был знатоком Корана и этим импонировал сартам.

Проходит Н. П. по улице; навстречу — три сарта. Едва разминулись, слышит брань и плевки себе вслед:

Остроумов их останавливает:

— Послушайте, вы меня дурно обозвали, а вы меня знаете?

Сарты поражены неожиданным обращением к ним на их языке.

— Нет, тюря...

— Я вас чем-нибудь обидел или оскорбил?

— Нет...

— Так почему же вы плюете мне вслед?

Молчание.

— Слушайте, я мог бы сейчас позвать вот того полицейского, и он отвел бы вас под арест! Вас бы присудили к наказанию за оскорбление русского чиновника. Но я этого не сделаю, а только напомню вам, что сказано в Коране...

И начал побивать их цитатами из Корана, порицавшими оскорбительные выпады против других людей. Сарты рассыпались в извинениях.

Свою политическую возню с сартами Н. П. вел идейно и добровольно. Поэтому для администрации он являлся почти незаменимым человеком, и это мешало Керенскому его съесть до конца.

В общем Н. П. был чистый и весьма порядочный человек, но в обществе его считали сухим, педантом — и над этими его свойствами часто подтрунивали.

Как педагог, он едва ли стоял высоко. Он был несколько теоретичен, поэтому скучен, и часто читал нотации, быть может — слишком часто. Поэтому приходилось слышать от бывших его питомцев критическое отношение к своему директору, но злобных воспоминаний слышать не приходилось.

Прошло много лет. Н. П., еще при нас овдовевший — его жена, Ольга Дмитриевна, была скромная, хорошая и любвеобильная женщина, смотревшая на мужа немного снизу-вверх, — выслужил пенсию и возвратился в Россию. Но, должно быть, он, как и многие, был отравлен прелестью туркестанского солнца и, будучи уже стариком, стремился обратно в Туркестан, где к тому же остались почти все его дети.

Однако, ввиду водворившегося большевизма, сообщение с Туркестаном для частных лиц фактически стало невозможным. Как раз в это же время — дело происходило в 1920 году — пребывавший в Москве организационный комитет по устройству Туркестанского университета



отправлял в Ташкент первый эшелон профессуры и их семейств, для чего мы раздобыли целый «санитарный» поезд.

Получив просьбу Остроумова о том, чтобы его подвезли этим поездом, мы дали ему знать, на какой станции он должен присоединиться к эшелону.

Но перед самым отходом поезда мы получили телеграмму от туркестанского правительства; в ней говорилось:

— Ввиду имеющихся сведений о том, что с поездом профессуры должен прибыть известный русификатор бывший директор Остроумов, правительство предупреждает, что в пределы Туркестанской республики Остроумов впущен не будет.

Туркестанское правительство тогда состояло — так как другой «интеллигенции» среди сартов и киргиз в ту пору не было — сплошь из готовившихся на должности народных учителей бывших семинаристов учительской семинарии, частью успевших окончить в ней курс, частью освободившихся от учения прямым переходом со школьной скамьи на роль советских сановников. Юные правители нашли соответственным свести таким способом счеты со своим бывшим директором.

Дать знать Н. П. было уже невозможно, и он узнал на промежуточной станции по пути поезда, что его, к сожалению, нельзя принять.

Тем временем в самом Ташкенте произошел неблагоприятный для данного дела случай с сыном Остроумова Николаем, служившим до революции военным чиновником. Большевики проделали в Ташкенте один из самых простых своих трюков: объявили «свободное беспартийное собрание», на котором каждый «безнаказанно» мог говорить на политические темы. На эту удочку попался молодой Остроумов и произнес речь, критикующую советский режим. Разумеется, он сейчас же попал в Чека, а в большевицкой газете писалось:

— Вот он каков — сын известного русификатора Н. П. Остроумова, который к тому же и сам пытался проникнуть в Туркестан!

Слышал я позже, что Н. П., еще неоднократно просившемуся в Туркестан, это под конец было разрешено.

О другом видном педагогическом деятеле того времени В. Ф. Ошанине было упомянуто уже в другом месте.

Владимир Петрович Наливкин, по роли инспектора народных училищ, пользовался в Туркестане репутацией ученого знатока края и хорошего вообще человека. И внешность говорила в его пользу: серьезный, вдумчивый, строго, как казалось, смотревший сквозь очки.

Позже Наливкин переменял учебное дело на службу в администрации и был назначен чиновником особых поручений при генерал-губернаторе. Он был привлечен к административному делу как ученый знаток местного населения.

Вскоре затем он получил пост помощника военного губернатора Ферганской области и неоднократно заменял в Фергане губернатора.

По выходе в отставку он был избран от русского населения Туркестана в число членов Государственной думы. Здесь и произошел совершенно неожиданный скандал: бывший вице-губернатор объявил, что он займет место среди социалистов-демократов. В немногочисленной тогда социал-демократической партии, точнее — большевицкой партии, он стал лидером... Об этом в свое время много писалось и много говорилось. Слишком парадоксальным для царского времени было это политическое сальто-мортале. Отмечался в печати и тот жалкий вид, который представлял собою осанистый по внешности бывший вице-губернатор, лидерствуя в компании, ни в какой мере для него не подходящей.



В.П. Наливкин. Ташкент. 1906 г.

Этим фактом очень возмущались супруги Шатиловы, его родственники. Марья Петровна Шатилова (мать начальника штаба, в армии барона Врангеля, П. Н. Шатилова), родная сестра Наливкина, была замужем за Н. П. Шатиловым, помощником наместника на Кавказе. Кажется, перед посторонними Шатиловы даже не хотели говорить об этом своем родстве, но со мною, лично знавшим В. П. Наливкина, они откровенно высказывали по этому поводу свое негодование. Я за него заступался, помня личную честность Наливкина, но, конечно, психологически все это оставалось малопонятным.

Культурная жизнь

Ученые общества

Приехал в 1898 году новый начальник края генерал С. М. Духовской. Он был полон добрых культурных намерений, а потому пожелал, между прочим, ознакомиться с личным составом местных научных обществ.

Ему докладывают:

— Ваше высокопревосходительство, члены географического общества собрались!

Духовской выходит в залу, где выстроились члены ученого общества, и произносит соответственную случаю приветственную речь:

Через пять минут адъютант докладывает:

— Члены археологического общества!

Духовской выходит с готовой речью и... застывает от изумления: перед ним выстроились почти все те же лица, которых он только что уже приветствовал.

Та же история с педагогическим, фотографическим и др. обществами.

Ташкент уже и в ту эпоху не был лишен культурных сил, и они начали соединяться в общества. Но сил этих было недостаточно, а потому, как общее правило, интересующихся хотя бы одной отраслью науки уже автоматически завлекали и в другие возникавшие общества.

Археологическое общество, точнее — «кружок», создан по инициативе Н. П. Остроумова, который внес в это дело много любви. Почти все в нем было делом рук Николая Петровича: инициатива, создание, руководство, фактическое председательствование, производство самих раскопок, составление и печатание протоколов и т. д. Средств у кружка было очень мало, и жаль, что они главным образом шли на печатание излишне подробных протоколов, иногда, однако, печатались и научные статьи. Кроме русских, на заседания приходили и ученые сарты. Они, впрочем, ничего не вносили в дело, а являлись только ради того, чтобы посидеть в доме «полуцаря» и, вероятно, потщеславиться этим перед другими.

Действительно, почетным председателем бывал во всех, кажется, обществах генерал-губернатор; в его доме происходили и самые собрания. К сожалению, это было целесообразной необходимостью: и русские часто шли на научные собрания не без таких же мотивов; наоборот, общие собрания, устраиваемые в других помещениях, привлекали мало членов.

Наиболее успешно шла деятельность географического общества, точнее — Туркестанского отдела Императорского географического общества^[361], и это по той причине, что оно получало ежегодно казенную субсидию в две тысячи рублей. Денег обществу хватало и на организацию экспедиций, и на печатание трудов. Иногда географические задачи трактовались широко: например, общество дало мне крупную субсидию на наем вычислителей по исследованию строения вселенной.

Главной научной заслугой географического общества в те времена были исследования Аральского моря и озера Балхаша. И то, и другое были произведены Львом Семеновичем Бергом.

Л. С. Берг, впоследствии весьма известный ученый, попал в Туркестан, в качестве специалиста по ихтиологии, на службу по Министерству земледелия, на рыбные промысла в Казалинск. Преданный до мозга костей науке, он с нею совмещал свою служебную деятельность. Тогда он на нас производил впечатление еще не оперившегося птенчика. Но он был чрезвычайно симпатичен своей духовной чистотой, непосредственностью и беззаветной преданностью науке.

Он и спроектировал систематическое исследование тогда еще малоизвестного Аральского моря, а финансировало эти его экспедиции наше правление географического общества.

Л. С. посвятил этому делу два года, производя исследование моря в тяжелых условиях. Решительно все он проделал единолично. Плавал на утлом суденышке, рыбацьем баркасе, проводил в каждую почти поездку по несколько суток в море, терпя и голод, и непогоду; не один раз рисковал жизнью. Все это проделывал со стоическим мужеством и не жаловался на трудности, как будто его героическая научная работа была нормальным делом.

Потом плоды его экспедиции были предметом исследования разных специалистов, кроме исследований самого Л. С.; результаты были напечатаны в ряде томов. О своих работах Л. С. изложил в своей магистерской диссертации, и было вполне справедливым, что за эту диссертацию ему присудили докторскую степень, минуя магистерскую^[362]. Помнится, что он еще получил и золотые медали, но о научных трофеях, по своей скромности, Л. С. воздержался говорить.

Посвятив и последующие годы научной деятельности, Берг, спустя некоторое время, был избран профессором по кафедре географии в Казанский университет. Однако Министерство народного просвещения избрания не утвердило. Причиной был шум, поднятый нашей крайней правой печатью по поводу этого избрания из-за того, что Л. С. был еврейского происхождения, хотя он сам, а, вероятно, и его родители уже были христианами.

Живя затем в Петербурге, Л. С. сделал ложный шаг: детски неопытный в житейских вопросах, он дал себя женить. Его подругой стала ловкая еврейка, вдова, имевшая уже и раньше двух детей; в Петербурге она заведовала книжным магазином.

Женитьба вышла крайне неудачной. Хотя у них и родилось двое детей, но у Льва Семеновича не было и признаков личного счастья. Все ухудшаясь, его семейная жизнь стала под конец настоящим адом. Л. С. не выдержал — сбежал от своей жены.

Разводились они, впрочем, наполовину мирно. Жена забрала с собою своих прежних детей, но отдала Л. С. его личное потомство. Характерно, что в дальнейшем мать никогда не интересовалась судьбою этих детей.

Но вполне отпустить Л. С., как источник дохода, она не желала. На развод не соглашалась и требовала денег на содержание. Бедный Л. С. все платил и платил, изнемогая, по своей неопытности,

от усилий как-нибудь вырваться из этого семейного капкана. Выкрутиться ему удалось лишь много лет спустя, при большевизме, когда для развода стало достаточным заявления лишь одной стороны.

За это время Л. С., работавший при Академии наук, все рос и рос научно. Эрудиция его стала так велика, что, при всей своей скромности, он имел право сказать, когда кто-то из ученых другой специальности затруднялся дать ему свой труд:

— Он слишком специальный...

— Специальных книг для меня не существует. Чем специальное — тем лучше.

Прошел еще ряд лет, и мы оба, со Л. С., оказались в 1918 году в Москве. Он был в ту пору профессором Петровско-Разумовской академии. Жил со своей матерью, заботившейся об его детях. При большевиках ему приходилось нелегко, тем более, что он жил на Тверской-Ямской в доме, переданном рабочей коммуне.

Управляющий домом рабочий, как тогда полагалось, глумился над интеллигенцией, особенно над профессором: заставлял Л. С. убирать улицы, колоть лед на мостовой и т. п. Берг не сопротивлялся, только говорил:

— Если ваша власть не может найти лучшего употребления профессора, как заставлять его чистить улицу, — извольте: буду чистить.

Позже мне, по роли коменданта, предоставленного в распоряжение научных деятелей дома № 26 на Трубниковском переулке, удалось предоставить здесь ему квартиру, и издеваться над ним стало уже труднее.

В ту пору на физико-математическом факультете Московского университета возникла забота о заблаговременном подыскании заместителя знаменитому географу и антропологу Д. Н. Анучину, который был уже слишком стар и, действительно, через несколько лет умер. Кандидата с более громким географическим именем, чем Берг, в России тогда не было, и мы провели его в профессора Московского университета, несмотря на сопротивление нескольких из членов «географической независимой комиссии», желавших видеть заместителем Анучина непременно «своего», независимо от его научного багажа. Правда, у Берга был также достойный конкурент, проф. Обручев, заслуги которого особенно подчеркивал в своем официальном письме факультету сам же Берг, с большим благородством отказываясь даже конкурировать с Обручевым. Но мы разрешили этот вопрос удачно: провели в профессора их обоих — и Берга, и Обручева.

Но из-за Берга теперь столичные университеты спорили. Москва мало прельщала Л. С., он находил петроградскую обстановку более научной. Поэтому, когда ему одновременно оказалось возможным стать и профессором Петроградского университета и получить соответствующую службу в петроградском Географическом институте, он расстался с Москвою.

В Петрограде он снова женился — на этот раз по обоюдной любви — на одной из сотрудниц по Географическому институту. Брак вышел поначалу немного забавным: молодожены решили, что квартира Л. С. слишком тесна, и, чтобы не стеснять ни его детей, ни его самого в возможности научно

работать, они решили до лучших времен остаться каждый в своей квартире. Встречались же они в условных местах: на станциях трамвая, в парках и т. п. Позже, впрочем, жизнь их наладилась более нормально.

Лев Семенович был последним из друзей, провожавших в Петрограде меня в момент высылки большевиками из России.

В педагогическом кружке аудитория переполнена. Заманчивый доклад привлек не только членов, но и множество гостей.

Тема — объяснение второй части «Фауста» Гёте.

На кафедре — пожилой военный врач; умное лицо, с пронизывающим сквозь очки взглядом. Это — доктор Тишков, заведующий военной психиатрической лечебницей, большим учреждением, единственным в этом роде на весь Туркестанский край. Тишков — личность популярная. Умный, образованный человек, с ним всегда интересно поговорить.

Развивая свою основную мысль, лектор подтверждает ее цитатами из «Фауста»:

— Гёте, в своей второй части творения, проповедовал идею о соединении церковей. Западная, то есть лютеранская, церковь олицетворена Фаустом. Восточная, то есть греческая, или православная, — Прекрасной Еленой. Союз Фауста и Елены — союз церковей...

На лицах слушателей — все возрастающее недоумение. Слишком парадоксальные утверждения докладчика вызывают возгласы с мест.

После доклада разгораются прения.

Но Тишков... он не отвечает оппонентам. Он просто начинает, чуть не прямо им в лицо, хохотать. Это разжигает аудиторию; она поощряет возражающих аплодисментами.

А доктор, с раскатистым смехом, вертится на кафедре и тоже... аплодирует своим оппонентам. Едва кончит один, — Тишков кричит:

— Ну-ка? Кто следующий? Выступайте!

И заливается смехом.

Негодование публики становится таким бурным, что заседание приходится прервать. Все расходится. Тишков остается один на кафедре — к нему никто не подходит.

А через день он уже сидел в палате, в той самой лечебнице, которую заведовал.

С ним произошло внезапное умопомешательство, по-видимому, на самой лекции. Оно бурно выявилось под влиянием возражений.

Полгода спустя я встретил Тишкова в Петербурге. Он на свободе бродил по улицам. Хотя меня и узнал, но производил впечатление не вполне оправившегося.

Путешественники

Туркестан был излюбленным местом для иностранцев-путешественников. Они часто проезжали через этот край, направляясь в Китай или на Памиры, или же возвращались из Китая в Европу. Иные ездили с научной целью, другие — поохотиться.

Многих из них привозили — или они сами приезжали — к нам на обсерваторию. Одним нужна была сверка хронометров или справки о климатических факторах, других привозили потому, что обсерватория была тем единственным культурным уголком в Ташкенте, которым и власть, и обыватели не прочь были щегольнуть перед иностранцами.

Передо мною промелькнула таким образом длинная вереница лиц...

Свен Хедин бывал здесь на пути в Кашгар, где он часто и охотно пользовался приютом и гостеприимством русского консула в Кашгаре Н. Ф. Петровского, исключительно образованного человека, хорошо представлявшего в этом крае русские интересы и русское достоинство пред китайцами. Тогда Свен Хедин, широко пользовавшийся русским содействием, еще таил свое злое русофобство, которое он затем так пышно проявил пред Великой войной.

Венгерская экспедиция графа Зичи осталась в памяти как исключительно богато обставленная. В ее составе был чуть ли не десяток разных специалистов. Зичи показывал мне, между прочим, необыкновенно роскошно изданное им описание его предыдущего путешествия по России.

Бонэн, французский лингвист и философ, возвращался из Китая, после трехлетнего изучения там буддизма. Он производил впечатление очень талантливого, и его рассказы нам по философии буддизма слушались с захватывающим интересом. Позже, желая отблагодарить нас за гостеприимство, Бонэн прислал из Парижа иллюстрированное описание своего путешествия в одном из парижских журналов. Бедный философ, он спутал названия моей должности (астрофизик) и инструмента (астрограф), которым я наблюдал. Свою посылку Бонэн адресовал: господину астрографу Стратонову...

Около 1897–1898 гг. мы принимали и много возились с немецкими путешественниками Футтерером и Гольдерером. Они остались особенно в памяти по их инциденту с казаками.

У нас тогда проявлялось непростительное заискивание перед иностранцами. Между прочим, это проявлялось в том, что им часто давали, при путешествии по Китаю, для охраны, а в сущности, на роль белых рабов при иностранцах, наших казаков из стоявшего в Ташкенте оренбургского полка. Казаки эксплуатировались путешественниками и в качестве прислуги. Это было фактом, возмущавшим многих, — тем не менее такое использование русских, отбывавших родине воинскую повинность, практиковалось.

Дали оренбургских казаков и в распоряжение Футтерера и Гольдерера, при их путешествии из Ташкента в Пекин. По-видимому, немцы пересолили: слишком уж плохо обращались со своими рабами. Несмотря на дисциплину, которой казаки были тогда проникнуты, и на предстоящую

ответственность, — оренбуржцы не выдержали немецкого издевательства и, бросив посреди Монголии путешественников, пробрались им одним ведомым способом чрез Китай до Ташкента, где и явились в полк по начальству.

Случай этот наделал тогда большой переполох. Кажется, после этого казаков иностранцам не давали.

Печать

Мы застали в 1895 году на весь Туркестанский край только один русский печатный орган — официальные «Туркестанские ведомости». В других областях своих областных ведомостей не было. Пожалуй, их и не могло быть, при малочисленности русского населения, сосредоточенного к тому же главной массой в самом Ташкенте. Туземное же население, за ничтожным исключением, было по-русски неграмотно.

Газета тогда выпускалась лишь дважды в неделю. Ее выхода ждали с интересом, потому что только из помещенных в ней телеграмм узнавали, что делается на белом свете. Из России газеты приходили тогда самое скорое через шесть дней. Отдельного же выпуска агентских телеграмм не практиковалось вплоть до Русско-японской войны.

Нельзя сказать, чтобы «Туркестанские ведомости» не были интересными. Газета обслуживала также и научное изучение края. В ней появлялись статьи исторического, этнографического, географического, естественноисторического, иногда и экономического содержания. Беллетристика не допускалась, официальная часть сосредоточивалась на небольшой части первого листа, объявлений было совсем мало. Хроника оставляла желать. Она касалась по преимуществу официальной жизни, да еще концертов, спектаклей, лекций и т. п. Материала с трудом хватало на четыре страницы среднего формата.

Потом развитие жизни, а отчасти и конкуренция с первой появившейся в Ташкенте частной газетой, понудили «Туркестанские ведомости» расширяться и выходить чаще. Сначала перешли на три выпуска в неделю, а потом и на ежедневные, включавшие иногда в себе 6–8 страниц.

На газете, несмотря на то, что она состояла при канцелярии генерал-губернатора, сильно отражалась личность редактора.

Первым редактором при нас был Романович, бравый штурман, небольшой плотный человек, с красным лицом и совершенно рыжий. Что-то заставило его переменить морскую стихию на журналистику. Романович был очень боек, любил везде бывать на виду, постоянно выступал с речами... Но что, собственно, он писал — не знаю, думаю, что очень мало, а ограничивался лишь редактированием написанного другими.

Издание газеты в его время было делом необыкновенно легким, в сущности — синекурой. Официальная часть приносилась готовой из канцелярии генерал-губернатора, агентские телеграммы

приходили в таком же виде. Российская и заграничная хроника состояла из перепечаток из столичных газет. Оставалась только ничтожная местная хроника. Час-два в день, это было максимумом работы редактора.

Романович, должно быть, поэтому скучал и радовался возможности поредактировать. У меня с ним на этой почве вышел курьезный конфликт. Написал я научно-популярный фельетон «О блеске звезд» и послал ему для напечатания. Заезжаю посмотреть корректуру и прихожу в ужас.

Я имел манеру писать короткими, отрывистыми фразами. Романович переделал до конца весь мой стиль и более того — повставлял в разных местах собственные фразы, сделавшие кое-где мой фельетон научно безграмотным.

Рассерженный, я попросил в таком виде моей статьи вовсе не печатать. Романович, не привыкший стесняться с авторами, также взволновался:

— Имейте в виду, что если бы Иван Александрович Гончаров встал из гроба и принес мне свою рукопись, я бы считал себя вправе и ее переделать!

— Это уж ваше частное дело с Гончаровым. А я печатаю только в таком виде, как я сам написал!

Бравый штурман покраснел:

— В таком случае вам придется уплатить за напрасно сделанный набор!

— Сделайте одолжение!

Расстались сухо. Отобранную рукопись я дал в газету «Окраина», где её немедленно и напечатали. Романович обращался с жалобой на меня разным лицам, но не встретил сочувствия.

Через несколько месяцев я прочитал публичную лекцию «О Солнце», очень понравившуюся публике. Романович расхвалил в газете мою лекцию до небес, а затем попросил прислать ее для напечатания с оговоркою:

— Редакторские права устранию!

После этого мы с ним хорошо ладили, и присылаемые мною статьи и заметки оставались неприкосновенными для редакторского карандаша^[373].

Романовича заменил в роли редактора «Туркестанских ведомостей» подполковник Генерального штаба Грулев. Почему он был приставлен к столь чужому для него делу, было малопонятно. Впрочем, тогда числиться по Генеральному штабу означало быть специалистом в чем угодно.

Грулев был еврейского происхождения, что тогда им тщательно скрывалось, но о чем шепотом говорилось. Впрочем, еврейство было заметно и по его лицу. Уже сравнительно недавно, в конце

двадцатых годов, я прочитал в парижских эмигрантских «Последних новостях» некролог генерала Грулева, причем теперь открыто подчеркивалось, что он был еврейским деятелем.

Редактором Грулев пробыл года полтора или два, и был редактором совершенно бесцветным. Газета оставалась строго казенной, а Грулев, кажется, интересовался лишь официальной частью.

Газета оживилась при следующем редакторе Ник[олае] Гурьев[иче] Маллицком, бывшем преподавателе географии в гимназии, зяте Н. П. Остроумова. Он был и секретарем нашего географического общества, и в период расцвета последнего, во время экспедиций Л. С. Берга, — проявлял большую деятельность, скромно неся на себе много работы.



М. В. Грулёв

«Туркестанские ведомости» при нем пошли недурно и развернулись до ежедневных выпусков. Но через три года Маллицкий оставил редакторство, будучи выбран, в связи с реформой городского управления, первым ташкентским городским головой. Он постоянно перевыбирался и очень долго пробыл в этой должности. Посетив Ташкент в 1921 году, я слышал об отчаянном положении, во время большевизма, супругов Маллицких: она постепенно слепла, а он, лишенный всего, нёс на себе непосильную работу.

Первая частная газета «Окраина» была основана в 1895 году группой интеллигентов, в которой видное участие принимал артиллерийский офицер К. М. Оберучев, известный впоследствии социалист, в ту пору переведенный в Туркестан в качестве ссылки, а впоследствии, уже при революции, ставший командующим войсками Киевского округа; свои дни Константин Михайлович, человек кристаллически чистой души, кончил в 1930 году в Нью-Йорке, в невольной эмиграции.

Позже эта газета переименовалась в «Русский Туркестан». Одно время ее издавал Сморгунер, о трагической судьбе которого уже говорилось. После его убийства издание газеты повело образовавшееся с этой целью товарищество на вере. Постепенно развиваясь, газета, вместо двух выпусков в неделю, дошла до ежедневных.

Одним из главных заправил в газете стал И. И. Гейер. Он подписывал свои более хлесткие статьи псевдонимом Дубльжан, и в этом псевдониме нетрудно было расшифровать столь известного всем в Ташкенте Ивана Ивановича. Статьи не были чужды саморекламы для автора, и казалось немного странным открытое участие в нередко обличительном органе видного административного чиновника.

В старые годы были в Туркестане две попытки издания местного календаря, но обе они ограничились одним годом.

Я также составил и издал Туркестанский календарь на 1904 год, снабдив его, между прочим, рядом статей по туркестановедению. Книга имела большой успех, но, за моим выездом, в 1904 году, из Ташкента, дальнейший выход этого календаря также прекратился. Мне не удалось найти

заместителя для его продолжения. Тем не менее, уже будучи в России, я неоднократно получал требования на него, с приложением денег.

Во время Великой войны я встретился в Твери с ташкентским ксендзом Пранайтисом, получившим такую известность, в свое время, по участию в киевском процессе Бейлиса:

— Уже прошло, — говорил он, — десять лет, а мы продолжаем пользоваться вашим календарем в Ташкенте; его нечем заменить для справок по Туркестану.

7. Мозаика

Жизнь русского общества

Героического периода общественной жизни в Ташкенте мы не застали: в нём уже наладилась нормальная жизнь. Все же военный колорит был доминирующим.

Понемногу, однако, проникал в Туркестан и гражданский элемент: всё увеличивающееся в числе гражданское чиновничество, а также купечество и ремесленники. Для энергичных торговцев и для промышленников этот богатый край был прямо золотым дном. И несколько человек сразу выдвинулись как торгово-промышленные дельцы крупного масштаба.

Более всего привлекал к себе внимание Н. И. Иванов — энергичный предприниматель на все руки, разорвавшийся и снова богатевший. Если б не его широкая русская натура, — он стал бы миллионером. Но он им не стал. Это был человек крупного размаха, чуждый свойственного заграничным купцам кулачества. Жил сам хорошо, но давал жить и другим, и не раз проявлял красивые жесты.

Наш друг В. С. Гейнцельман, бывший прежде инженером областного управления, вместе с группой других лиц, навлек на себя гнев генерал-губернатора М. Г. Черняева. В действиях этой группы лиц были усмотрены злоупотребления. Черняев действовал с военной решимостью, и все эти лица были преданы суду.

Гейнцельман пользовался в обществе репутацией честнейшего человека — и заслуженно. После утреннего допроса судебный следователь назначил ему срок до пяти часов вечера для внесения залога в двадцать тысяч рублей, — иначе он подлежал заключению в тюрьму. Денег у Гейнцельмана не было, достать такую сумму в короткий срок возможности не было. Он пообедал и, в ожидании ареста, лег уснуть.

Его будят — приехал купец Иванов по нужному делу. Услышав в городе разговоры о постановлении следователя, Иванов, знакомый с репутацией Гейнцельмана, поспешил привезти ему, для освобождения от ареста, свои 20 тысяч рублей.

Между прочим, это дело могло прекратиться по подоспевшему манифесту. Гейнцельман отказался воспользоваться царской милостью и потребовал над собою суда. Он был по суду оправдан и вполне реабилитирован.

Было в Туркестане и еще несколько крупных русских предпринимателей, оставивших по себе в истории края след: полк[овник] Жемчужников (на его дочери был впоследствии женат генерал Н. Н. Юденич), Громов, Первушин, Филатов и др.

Неплохо жилось русским в Ташкенте, — жизнь была страшно дешева, как об этом уже говорилось. Многие поэтому пообзаводились домами и землями.

Обычные городские развлечения были здесь редкостью — театры, концерты и т. п. Одним из любимых развлечений общества того времени служили пикники, на которые собирались все общественные верхи. Особенным мастером устраивать такие пикники был адъютант генерал-губернатора Д. В. Белов, много хлопотавший и много потом переносивший неприятностей — особенно от чрезмерно требовательных дам. Вспоминается один из таких пикников:

Белов нанял у одного из сартов его загородный фруктовый сад. Разукрасил и иллюминировал этот сад, точно в китайской сказке. Одно плохо рассчитал — сад был слишком далеко — несколько верст; ехать по пыльной дороге было и скучно, и неприятно. Правда, съезжавшихся сопровождали конные полицейские-сарты с факелами, но все же многие были недовольны.

Подъезжают экипаж за экипажем, и слышатся негодующие возгласы:

— Где этот Белов?

— А я, — рассказывал Белов, — как только кто подъезжает, прячусь в кусты. Пусть поест, отдохнет, придет в хорошее настроение, тогда я с ними здороваюсь...

Действительно, в саду уютно. Гремят оркестры музыки, расставлены столы для чаепития и с прохладительными напитками. Молодежь танцует. Паркет заменен разостланными на гладкой площадке кошами (войлоком). Пожилые уселись за карты.

Потом — общий ужин. Разъехались уже на рассвете. Обходилось все это не так дорого, и большинству было по средствам.

Ужинали мы как-то летней ночью в военном собрании. Веселая составила компания, настроение подогрелось шампанским. Как часто бывает, решили после ужина ехать на обсерваторию...

За столом составилось пари: один из споривших, командир корпуса Шпицберг, должен был, в случае проигрыша, командировать игравший в клубе военный оркестр к нам на обсерваторию. Он проиграл.

Мы отнеслись к этому условию, как к шутке, и не заметили, как Шпицберг подходил к оркестру. Но, когда, в час ночи, мы подъехали к воротам обсерватории, грянул военный марш.

После астрономических наблюдений ночь кончилась новым ужином у нас на террасе. Оркестр, щедро потом нами вознагражденный, играл до самого рассвета.

Сартское население, разбуженное среди ночи военной музыкой, переполошилось. Военная музыка, в их представлении, могла быть только при прохождении войск. Значит, в Ташкенте начался

ночной мятеж против русских, и войска идут их усмирять... Плохо спали в эту ночь сарты в окрестностях обсерватории.

Лето в Туркестане, благодаря ночной прохладе, дававшей отдых от сильной дневной жары, было переносимо. Все же многие предпочитали выезжать на дачу.

Излюбленным дачным местом ташкентцев было урочище Чимган. Оно расположено верстах в восьмидесяти от Ташкента. Менее фешенебельным летним курортом было село Троицкое, верстах в сорока от города. Сюда выходил в лагерь гарнизон, и здесь же устраивались на лето офицерские семьи.

Чимган — малооблесенная вершина. Лишь кустарники, да еще группы орехов около протекающего по урочищу ручья. Красот природы — никаких, но климат считался очень здоровым. Особенно помогали переезды сюда против малярии. Бывало, что детей, в весьма опасном для жизни положении, привозили в это гористое место, и они буквально на глазах поправлялись.

Обыкновенно в Чимган ездили на извозчиках, которые брали за весь конец 12–15 рублей. Менее состоятельные переезжали в сартских арбах, и тогда переезд длился два дня.

На пути обязательно останавливались в селении Искандер, связанном с деятельностью великого князя Николая Константиновича. Здесь для проезжающих были разбиты киргизские юрты, полукруглые, на веревках, с накинутой сверху кошмой. Путники устраивались на ночлег на сартских кроватях, дешевых, но довольно удобных. Рама из круглых обрезов дерева на деревянных ножках, небольшой подъем для головы. Вместо матраца сетка из натянутых веревок. На них кладется толстое сартское одеяло, мягкое из ваты. В общем, спится удобно.

Вместо буфета, — чайхана, в которой путники достают не только чай, но и неизбежный палау, шашлык или пельмени; вместо хлеба — сартские лепешки.

После Искандера начинается подъем с быстро улучшающимся горным воздухом.

В самом Чимгане дачники, как правило, жили в таких же юртах. Они устанавливались в урочище на летнее время окрестными киргизами. Только немногие постоянные посетители Чимгана имели собственные деревянные бараки. Постройка таких бараков обходилась в 75–150 рублей, смотря по «роскоши» их, и самые бараки легко перепродавались или сдавались в наймы.

Ни о каких удобствах жизни на таком курорте думать не приходилось, но здоровье, особенно у детей, хорошо восстанавливалось.

Русские поселки

Туркестанская власть в эту пору сильно была озабочена русской колонизацией края. Поэтому здесь устраивались особые поселки из переселенцев. Частью в них селились отслужившие свой срок солдаты с семьями, — к солдатам, для этой цели, еще во время службы перевозились на казенный счет их семьи; большей же частью население поселков составляли переселенцы из России.

Нередко, однако, созданные поселки не приводили к результатам, и виноваты в этом бывали сами переселенцы. Все, что можно, для них делалось: их участки наперед орошались, с помощью сартских или киргизских рук, им строили избы и вообще широко шли на помощь материально. Все это баловало поселенцев и вызывало с их стороны повышенную требовательность.

Бывало, что подготовленные для них участки они передавали в аренду местному населению. Построенные для них дома сдавали горожанам на лето под дачи. Пособие иной раз просто пропивали. А когда им не хватало денег, то женщины, и иногда и мужчины, шли наниматься прислугой. Это было для них тем возможнее, что вопрос с прислугой в то время стоял в Ташкенте весьма остро, именно с прислугой русской.

Мужская прислуга из сартов — кучера, повара и лакеи — находилась довольно легко; женщины же сартянки, ввиду установленной их законом затворнической жизни и запрещения открывать лица перед чужими мужчинами, а особенно перед «неверными», не могли идти в чужой дом в услужение. Поэтому женская прислуга набиралась только из русских — солдаток или переселенок, и спрос на них всегда превышал в несколько раз предложение.

Чтобы достать няньку или кухарку, надо было иногда целыми неделями выведывать, хлопотать, искать через знакомых... Если предвиделась женщина, надо было сторожить, чтобы ее не переманили другие... И получивши наконец такое сокровище, надо было его ублажать. Оставивши вас, женская прислуга имела ведь в своем распоряжении целый ассортимент предложений. Одним словом, женщина зарабатывала легко и достаточно, так что нередко легким трудом жены кормились около них и мужья.

Слишком утомлять себя женская прислуга не бывала склонна; у нянек, например, выработалось при найме на место условие:

— На кого мне спать: на себя или на ребенка?

Спать на себя означало, что работа няни только дневная. Что происходит с ребенком ночью, — это уж ее нисколько не касается: возится ночью с больным ребенком мать-нанимательница, а нянька рядом храпит вовсю.

Очень любила русская прислуга праздники. О воскресеньях и всех церковных праздниках нечего и говорить, но она увлекалась и царскими праздниками.

Например, когда праздновалось коронавание Николая II, русская прислуга в Ташкенте гуляла и пьянствовала целых две недели.

Мужчины из русских поселенцев нанимались — если вообще нанимались — по преимуществу кучерами. Много между ними бывало пьяниц. Было со мною, что, выехавши в город с трезвым кучером, я должен был для возвращения сам сесть на козлы, спустив совершенно напившегося во время стоянки своего возницу.

Один раз, впрочем, у нас был замечательный кучер из русских: с лошадьми проделывал настоящие чудеса. Пускал их пастись безо всякой привязи или пут. Ему за это выговаривалось, а он только посмеивался:

— Никуда они не уйдут!

И действительно, посвистит как-то особенно, и лошади бегут к нему, точно дрессированные собачки.

Любили его лошади удивительно. Сидя на козлах, он заставлял их простым посвистом мчаться так быстро, как этого не удавалось достигать кнутом.

К сожалению, этот кучер был отчаянный пьяница: пришлось довольно скоро уволить.

Туземная прислуга

Мужская прислуга из сартов или киргизов была много лучше. Они вовсе не пьянствовали, — по крайней мере, так было в ту пору. С ними, однако, бывали другие трудности. Главное — у них не было никаких документов.

Приходит сарт наниматься.

— Как твое имя?

— Ахмет!

А таких Ахметов в туземном городе тысяч двадцать или тридцать. Кто их разберет, какой именно из Ахметов служит у вас. А такому Ахмету приходится доверять все свое имущество. Еще удивительно, что нас так редко обкрадывали.

Сарты и киргизы, привыкшие к лошадям с детства, бывали превосходными кучерами, но нередко без пощады обворовывали хозяев. Нарочно ломали наш экипаж, чтобы получить куртаж^[380] от экипажной мастерской при ремонте. Кстати, во время ремонта пользовались внеочередным отдыхом. Крали корм у лошадей и продавали его в соседние сартские лавочки. Равнодушие к хозяйским интересам — полное.

Рано утром поехал наш сарт-повар верхом в город за покупками. У него нашу лошадь украли. Сарт спокойно вернулся на обсерваторию пешком, напился чаю, отдохнул... А затем приходит с докладом:

— Лошади нету!

— Как так?

— Привязал ее с покупками возле аптеки. Выхожу — лошади нет. «Караульщик» сказал: «Иди домой! Лошадь сама домой придет». — Я пришел. А вот уже два часа, а лошадь не приходит!

Она не пришла и до сегодня.

Был у нас кучер — дунганин, сарт из китайского Туркестана. Злой был человек и нещадно бил лошадей — чтобы они его боялись.

Как-то раз я услышал неистовый конский топот. Заглянул в конюшню и увидел, что дунганин без всякой причины избивает кнутом мирно стоявших в стойлах лошадей. Разнес его, запретив это делать.

Дунганин зло смотрел и молчал. Но в эту же ночь отомстил. Встал ночью, будто для корма лошадей, оставил дверь конюшни открытой, а его, вероятно, друзья-конокрады увели пару лошадей через проломанную ограду.

Кучера арестовали, но через три дня отпустили за недостатком улик. Лошадей, конечно, не нашли.

Туземцы-прислуга также увлекались своими праздниками, особенно Уразою (Рамазаном).

Долгое время служил у нас лакеем молодой сарт Юлдаш. В начале службы он был превосходен: быстрый, старательный. Но заработав кое-что, начинал мечтать об отдыхе. Прямо отказаться от службы Юлдаш почему-то не хотел: вероятно, считал это дурным тоном. Но он старался нас так известить, чтобы мы сами его уволили.

Он начинал ходить по дому все медленнее и медленнее. Пошлешь его за чем-нибудь, а эта фигура в бешмете и тюбетейке так переступает ногами, как будто несет вазу с водой и боится воду расплескать. Ясно, что дело шло к его уходу. Один раз я не выдержал: схватил его за рукав и провел по комнате, показывая темп, каким надо ходить. Он не обиделся, но стал двигаться еще медленнее.

Пришлось его рассчитать.

Погоулял Юлдаш месяца два и, выждав, когда мы как раз были без лакея, снова приходит, улыбаясь, наниматься. Лакей, или малай, как здесь называли, был он хороший, честный. Взяли его снова. Опять служил несколько месяцев безукоризненно, а скопив денег, снова стал нас изводить медленностью.

Так он уходил и снова нанимался пять или шесть раз...

Болезни

Прелесть туркестанской жизни отравлялась болезнями, свойственными его климату.

Очень чувствительным бичом являлась малярия. В некоторых местах она гнездилась постоянным, неизбывным злом. Такими местами, например, были: Мерв, Кушка, Термез. В Мерве в среднем каждый житель заболел два раза в год малярией. На Кушке и в Термезе, где были русские крепости, дело обстоит еще хуже: люди точно таяли, и смертность от малярии была немалая.

Но в большей или меньшей мере малярия проявлялась повсюду в Туркестане, за исключением горных мест. Она зло сказывалась и в Ташкенте, сильнее на детях, но также и на взрослых.

Одно время — это было в 1896 году — малярия особенно разыгралась в Туркестане: стала нещадно косить туземное население, которое, как казалось, могло бы и акклиматизироваться в этом отношении. Целый ряд кишлаков настолько был поражен малярией, что заезжавшие в такие поселения

не могли, бывало, найти ни одного здорового человека. Многие сарты от этого умирали, и попадались кишлаки, где все население сплошь вымирало от малярии, точно от чумы.

Замечательно, что на не привыкшее к хинину население — это средство действовало превосходно. Проявлялись чудеса быстрого выздоровления. Но наличные запасы хинина были в крае быстро исчерпаны, а пока получались новые, много погибло людей.

Об особой болезни риште, вызываемой употреблением зараженной воды, уже говорилось.

Специально в Закаспийской области большим злом является так называемая пендинка^[381]. Это — прыщи, появляющиеся на теле, чаще всего на лице. Они остаются долгое время и не поддаются лечению. Но в позднейшее время пендинку стали с успехом лечить солнечными ваннами. Когда болезнь кончается, на теле или на лице остается навсегда пятно, безобразящее человека.

Обстановка бывала благоприятной и для вспышек, время от времени, чумы, преимущественно на границе с Афганистаном и в Бухаре.

Энтомологическое царство

Что особенно поражает в Туркестане — это обилие всевозможных видов насекомых! Воздух летом буквально кишит ими. Мы это особенно испытали, живя среди большого парка на обсерватории.

Из-за этого воздушного населения для меня возникали затруднения при астрономических наблюдениях, особенно потому, что я нервно не выношу насекомых.

Наблюдая по ночам телескопом, я время от времени зажигал электрическую лампочку у окуляра. На мигающий среди тьмы огонек слеталась из парка всякая летающая нечисть. Углубишься иной раз в тонкие астрономические измерения, и вдруг:

— Жжж!

Прямо в лицо ударяет какой-нибудь жук.

Ну, конечно, невольно отскакиваешь в сторону. Наблюдение испорчено, надо начинать его сначала...

Когда вечерами приходилось работать в лаборатории с открытыми окнами, весь стол заселялся разными жучками, бабочками, букашками и уж не знаю еще какой нечистью. Не позволяли работать. Я их арестовывал, покрывая стеклянными стаканами и воронками, а уже следующим утром мой служитель Кадыр удалял все это царство куда следует.

В Ташкенте гостил известный наш натуралист Б. А. Федченко, вместе со своей матерью О. А. Федченко. Они направлялись в экспедицию на Памир, и эта мужественная женщина, уже далеко не молодая, сделала труднейшее и для мужчины путешествие верхом. Вдова большого ученого, она сопровождала в научных исследованиях и сына. Вот эти натуралисты были очень довольны нашим энтомологическим царством. Мы вешали около стены, на террасе, сильный ацетиленовый фонарь. На

яркий свет слетались тучи всякой нечисти, а Б. А. Федченко был в восторге: ловил их, с помощью эфира, в свои банки. Помнится, он находил здесь и неизвестные еще виды.

Немало в Туркестане скорпионов и фаланг. Их особенно много водилось в развалинах домов. Но они не оставляли своим вниманием и жилые дома: их, бывало, находили на стенах, иной раз — на кровати и даже в одежде. Укусы их очень болезненны, но вообще не смертельны.

Гораздо хуже укусы мелких черных пауков каракуртов, о которых уже говорилось по поводу Ташкентской библиотеки. Но они водятся по преимуществу в горах.

Землетрясение

Самое, однако, неприятное явление туркестанской жизни — это землетрясения! К ним невозможно привыкнуть. Благодаря землетрясениям никогда не чувствуешь себя вполне спокойно: слишком уж они часты.

Сначала я относился к ним равнодушно. Затрясет днем или среди ночи — хватаешь часы и следишь по секундной стрелке, когда землетрясение началось, когда были отдельные сильные толчки, как долго длится тряска земли... А потом, после нескольких особенно сильных землетрясений, выработалось иное отношение. Когда начинает трястись весь дом, раскачиваются лампы, с потолка падает мелкий дождь штукатурки, двери сами отворяются, а при этом слышен еще иногда и ревущий гул почвы, — перестаешь быть бесстрастным наблюдателем: возникает тревога, как бы не обвалился дом, и уже заботаешься не о записи моментов, а о спасении детей от возможной катастрофы.

Когда установили мы на обсерватории особенно чувствительный прибор для наблюдения землетрясений — горизонтальный маятник Ребер-Пашвица, регистрирующий фотографически все колебания почвы, я нашел по этим сейсмограммам, что мелких землетрясений приходится в среднем по три на каждые два дня. Более же крупных, ощущаемых непосредственно, без всяких приборов, — бывает 10–12 в год.

Очень чувствительным прибором для наблюдений землетрясений оказалась наша пальма — притчардия. Я как-то заметил, что ее тонкие волоски вдруг стали трястись. Пока я раздумывал над причиной, вдруг загрохотало настоящее землетрясение. В трясении волосков отразились, неуловимые непосредственно, мелкие колебания почвы, предшествовавшие толчку.

Одним из крупнейших землетрясений того времени было, на самом рубеже минувшего века, землетрясение в Андижане. За какие-нибудь две-три минуты тряски обвалился почти весь город, особенно туземный. Погибло несколько тысяч человек, — еще сравнительно мало, потому что время было утреннее: многие уже ушли из домов^[382].

Иначе погибло бы много больше. У сартов глинобитные домики — сакли покрываются, в качестве крыши, слоем земли. Каждый почти год, в целях ремонта, — чтобы крыша от дождей не протекала, на нее накладывают новый слой земли.

Таким образом, на глинобитных стенах покоится большая тяжесть.

И вот, когда землю тряхнуло, эти земляные крыши рухнули со стенами, похоронив под собой всех, бывших в то время в саклях. Сильно пострадали, впрочем, и дома европейской постройки.

Катастрофа с Андижаном произвела большое впечатление. Небольшое русское общество очень сердечно устремилось помогать — кто чем мог — населению, оставшемуся в холодное время года без крова и ставшему голодать. Шли на помощь буквально за совесть.

Забывтые дела давно минувших дней!

Края, где дремлют доблестные мощи,
Ваш горько мил покорствующий вид.
Пусть ваша ширь нам сердце исцелит.
Здесь краше мир, дела людские — проще.

Как пурпур — абрикосовые рощи
И виноградник золотом залит.
Ручьев прорытых льется хризолит,
Бредет верблюд, задумчивый и тощий.

Из низкой чащи глиняных оград,
Ее наполнив, обвисает сад,
К песчаному гранат склонился праху.

И в небеса восходят тополя...
Кадит благоуханьями Аллаху
Кадильница отшельников — Земля.
«Земля». К. Липскеров^[383]

С. С. Козловский

Заведующим обсерваторией, вместо Гедеонова, был назначен геодезист Степан Станиславович Козловский. Маленький полковник, поляк по происхождению, близорукий, с моргающими глазами.

Приехал С. С. один. Жена и сын остались в России. Он поселился в одиночестве, в своем большом доме из семи комнат, с двумя денщиками. Сначала им завладели Залесские. Он не завел своего хозяйства и каждый день у них обедал. Но не выдержал обстановки, явился к нам и стал усиленно просить взять к себе столоваться. Это стесняло жену, но пришлось согласиться.

Стал Козловский бывать у нас каждый день. Человек — милый, в высокой степени воспитанный и корректный. Одно было неудобно — ужасно засиживался. Придет обедать в четыре, а

сидит до десяти, и так каждый день. Ленив был он, наука его не интересовала, а поговорить любил. Наше отношение к себе ценил и не раз старался джентльменски за это отблагодарить.

Служебные отношения у нас с ним были превосходные, и мне на обсерватории стало совсем хорошо.

Но генерал Жилинский стал похварывать. Его жена долгое уж время жила в России, ему одному было и нелегко, и скучно. Он уехал в отпуск к жене, заболел там и вскоре вышел в отставку. На его место, как и ожидалось, был назначен Д. Д. Гедеонов.

Сразу большинство сослуживцев — топографов стали меня чуждаться.

Назначение Гедеонова было для меня, конечно, неприятно, но, благодаря посредничеству между нами С. С. Козловского, все протекало терпимо. К тому же Гедеонов по опыту знал, что заступиться за себя я и могу, и умею.

Понемногу и наиболее боязливые сослуживцы убедились в том, что Гедеонов меня не съест. Перестали меня чуждаться.

Все же Козловский был человеком исключительно общественным. Просиживание у нас целыми вечерами под конец перестало его удовлетворять. Он завел свой круг знакомых, преимущественно в среде офицеров Генерального штаба. Сам большой любитель покутить, С. С. сошелся по преимуществу с кутилами. Сначала кутежи происходили в военном клубе, но это было слишком на виду, и они стали происходить в гостеприимном доме одинокого С. С. Козловского.

Эти собрания причиняли немало затруднений моей жене. У самого Козловского, жившего на холостом положении, хозяйства никакого не было. Наприглашавши к себе гостей, С. С. является к нам и, целуя руки, умильно просит, часто моргая сквозь очки глазами:

— Марья Николаевна, выручите меня, пожалуйста...

При наших дружеских отношениях его нельзя было не выручать. Жене приходилось снабжать его полной сервировкой, готовить более сложные кушанья, если он их не заказывал, как иногда бывало, в клубе; простейшие же блюда он готовил сам с денщиками. На другой день всю сервировку приходилось приводить в порядок.

Козловский обыкновенно уговаривал и нас принимать участие в его банкетах. Здесь мы и имели возможность близко наблюдать многих офицеров Генерального штаба, которые впоследствии вызывали о себе разговоры в Великую и в гражданскую войны.

Мало-помалу кутежи компании Козловского стали все же притчей во языцех.

Однажды, после весело проведенной ночи, С. С. Козловскому приснился скверный сон. Снится, будто кто-то тянет с него одеяло, будит его. С. С. закрывает глаза:

— Спать хочу!

А одеяло все сползает:

— Проснись, *petit homme!*

Открывает глаза и вдруг — понимает...

Это вовсе не сон! Его будит, дергая за одеяло, его собственная жена, неожиданно, безо всякого предупреждения, прибывшая из Петербурга.

До Леониды Фердинандовны дошли вести о веселом образе жизни мужа. И она, оставив в Петербурге единственного и очень любимого ею сына, не предупреждая мужа, прибыла в Ташкент водворять порядок.

Кончились для С. С. красные дни Аранжуэца...

Л. Ф., сама по себе хорошая женщина, старалась строго держать мужа. Француженка по происхождению, она плоховато говорила по-русски, предпочитая французский. Называли они друг друга:

— *Petit homme! Petite femme!*

Весьма разумно она не сразу лишила мужа его общества, но вошла в него сама и этим, естественно, охладила слишком горячий темп прожигания жизни. Все чаще и чаще стали они сидеть дома. И тогда завелся у нас с ними обычай играть в карты в облачные и ненастные вечера.

Козловский пробыл в Ташкенте года три, и наши семьи до конца оставались дружны. Затем они уехали в Петербург, откуда С. С. — опять один — отправился на Дальний Восток начальником военно-топографического отдела в Приамурье. На этом ответственном посту застала его Русско-японская война.

Кто-то, прибыв оттуда, смеясь рассказывал, как главнокомандующий Линевич приучал С. С., возя его с собою на Путиловскую сопку и другие горячие места, к боевым ощущениям и как бедный Козловский моргал глазами под японскими шимозами.

Прошло много лет, и мы встретились снова с Козловскими в Москве, в 1920–1922 годах. Он стоял во главе, переведенной в Москву и уже большевизированной военно-топографической съемки одного из западных районов.

Оба они сильно постарели, особенно Степан Станиславович, очевидно, продолжавший кутить и в последующие годы. Материальные дела их были плохи.

Вскоре С. С. постиг удар. Его пришлось перевезти в университетскую клинику, где через полгода он скончался.

Л. Ф. много пришлось тяжелого перенести и в это время, и в последующие годы, особенно благодаря большевицкому режиму. Она перебивалась грошевыми уроками французского, даваемыми ею молодым большевикам. Но она стойко все переносила, никогда не жалуясь на судьбу. Несколько лет спустя я видел ее тяжело уже больной в семье сына ее, в Либане.

Конец жизни в Ташкенте

Все яснее рисовалась нам безвыходность положения в Ташкенте. Сразу, в молодости, это было хорошим назначением. Но затем, в смысле движения вперед и улучшения положения постепенно увеличивавшейся семьи, перед нами вставала каменная стена.

В более спокойной обстановке можно было бы работать и работать в надежде, что лучшее рано или поздно все же придет. Теперь, когда жизнь прошла, думаю, что так и следовало поступить. И я неоднократно сожалел о задуманных мною, но — увы! — так и не выполненных работах.

Но тогда, при молодой еще энергии, дело представлялось иначе. Надежда получить из Ташкента университетскую кафедру пала. А оставаться здесь, в провинции, на всю жизнь — казалось нам страшным.

Этому чувству содействовала и служебная обстановка. Такие просветы, как совместная служба с С. С. Козловским и впоследствии еще несколько месяцев — со вновь назначенным заведующим обсерваторией полковником Михаилом Павловичем Осиповым, также бывшим в отношении меня по службе большим джентльменом, были все-таки только просветами. Они обнимали лишь три-четыре года из десяти, проведенных на обсерватории. Все остальное время мне приходилось зависеть или от грубого ко мне Гедеонова, или от невежественных и часто невоспитанных топографов, временно заменявших начальство то на обсерватории, то в военно-топографическом отделе. Они были вообще настроены против меня. С одной стороны, я не участвовал, а иногда и восставал против их часто более чем сомнительных денежных и хозяйственных операций. С другой же, я не входил в их среду, интересы которой, в свободное от службы время, главным образом сосредоточивались около выпивки и карт, да еще очень мелких служебных интриг. Они были возмущены тем, что мы вращались в более интеллигентном обществе, чем их среда. Эти временные мои начальники старались часто отравить мне жизнь и даже помешать в работе, тем более, что каждая служебная против меня выходка доставляла плохо скрываемое удовольствие Гедеонову.

Такие выходки проявлялись преимущественно в мелочах житейского характера: запрещении, например, со стороны Залесского поддержать благоустройство в парке вблизи нашего дома, в то время как это делалось около других домов, в запрещении подвозить нам воду и во многом другом, мелком по существу, но своим накоплением часто нервировавшем.

Когда в 1900 году приближалась к Земле планета Эрос и мне надо было её систематически фотографировать, я подал рапорт о выписке через Петербург из заграницы свежих специальных фотографических пластинок.

Так бывало много раз и раньше, и подобные мои требования механически выполнялись. Но на этот раз я получил от временно заменявшего Гедеонова топографа полковника Родионова предписание. Он находил нужным проверить, действительно ли имевшиеся у меня в лаборатории в некотором количестве фотографические пластинки не годны для фотографирования Эроса. Проверку

должна была произвести особо назначенная Родионовым комиссия из двух военных топографов: Руднева и Васильева, под председательством временно заменявшего заведующего обсерваторией Гультяева.

Это показалось непонятно диким: кто же, кроме специалиста, может решить, годятся ли пластинки для его научной работы... Но топограф Васильев, очень порядочный человек, раскрыл мне карты: Гультяев и Руднев как раз начали заниматься любительской фотографией; они и надумали признать в этой комиссии имевшиеся у меня пластинки негодными и отобрать их «для уничтожения», на самом же деле захотели на отобранных у меня пластинках практиковаться по фотографии.

Я решил их проучить. Вскрыв запас пластинок, я наперед отпечатал на них координатную сетку, которая, после проявления, вышла бы как решетка. С помощью таких сеток астрономы определяют положения звезд на пластинках. Но до проявления об отпечатании подобной сетки знать нельзя...

Явилась ко мне комиссия и отобрала пластинки «для пробы». Более они ко мне и не являлись. Только Васильев рассказал, что они снимали портреты друг друга, а когда проявили, то оказалось, что их лица выглядывают будто из-за тюремной решетки... Вкус к моим пластинкам у них основательно пропал.

Казалось, что работать всю жизнь в такой обстановке нельзя. Перед этим умер директор Николаевской обсерватории И. Е. Кортацци. Я просил морское ведомство — обсерватория была морская — о назначении на его место. Хлопотавшие обо мне получили ответ: морское министерство решило назначить директором не специалиста астронома, а морского офицера — гидрографа; как на мотив указывалось на пример Ташкентской обсерватории: она находится под начальством офицера-геодезиста, а научная работа в ней идет, де, успешно; не хуже, мол, будет и в Николаеве под начальством офицера-гидрографа.

Научную работу в Ташкенте вел я один. Выходило, что я сам себе в данном случае, как будто, и повредил... Назначили в Николаев морского офицера. Увы, опыт оказался совершенно неудачным, и от него морскому ведомству впоследствии пришлось отказаться.

Приходилось таким образом отказаться мне от работы в качестве астронома.

Управляющий Ташкентским отделением Государственного банка А. Н. Дьяконов уговаривал: — Отчего бы вам не перейти в Государственный банк? Многие так делают! Пробудут для практики несколько месяцев в каком-либо отделении банка, сдадут соответственный экзамен, прослужат несколько месяцев для стажа контролером и затем получают место управляющего отделением банка. А это — превосходное место.

Съездил я в Петербург. Разговоры в Государственном банке были ободряющими.

Решил переходить.

В июне 1904 года мы покинули Ташкент.